

С.М.
СОЛОВЬЕВ

ИСТОРИЯ РОССИИ
1762—1765



История России с древнейших времен

Сергей Соловьев

**История России с древнейших
времен. Книга XIII. 1762–1765**

«Public Domain»

Соловьев С. М.

История России с древнейших времен. Книга XIII. 1762–1765
/ С. М. Соловьев — «Public Domain», — (История России с древнейших времен)

Тринадцатая книга сочинений С.М. Соловьева включает в себя двадцать пятый и двадцать шестой тома «Истории России с древнейших времен». Двадцать пятый том охватывает период царствования Петра III и начало царствования Екатерины II; двадцать шестой – продолжение царствования Екатерины II до 1765 г.

Содержание

Двадцать пятый том	5
Глава первая	5
Глава вторая	66
Конец ознакомительного фрагмента.	90

Сергей Михайлович Соловьев

«История России с древнейших времен»

Книга XIII. 1762—1765

Двадцать пятый том

Глава первая

Царствование императора Петра III Феодоровича. 25 декабря 1761 – 28 июня 1762 года

Милости нового государя. – Возвращение ссыльных. – Новый генерал-прокурор Глебов. – Новый совет. – Голицинские принцы и другие влиятельные люди. – Первые распоряжения в Сенате. – Манифест о вольности дворянской. – Уничтожение Тайной канцелярии. – Судный департамент в Сенате; разделение Юстиц- и Вотчинной коллегий и Судного приказа на департаменты. – Решение по делу о церковных имениях. – Указ о возвращении бежавших раскольников. – Крестьянские волнения. – Состояние финансов. – Военные приготовления. – Мир и союз с Пруссией. – Столкновения с Даниею. – Сношения с Австриею, Франциею, Англиею, Швециею, Польшею и Турциею. – Неудовольствие в России на перемену внешней политики. – Затруднительное положение канцлера Воронцова и Ив. Ив. Шувалова. – Неудовольствие самых приближенных лиц. – Неудовольствие духовенства и войска. – Признаки расстройств правительственной машины. – Общее неудовольствие вследствие поведения Петра III. – Опасения прусских министров относительно этого неудовольствия. – Переписка Фридриха II с Петром III по этому поводу. – Румянцев и заграничная армия. – Иван Антонович. – Тяжкое положение императрицы Екатерины. – Н. И. Панин; гетман Разумовский. – Движения в гвардии. – Княгиня Дашкова. – Орловы. – Ускорение движения в пользу Екатерины. – Провозглашение ее самодержавною императрицею 28 июня. – Поход ее в Петергоф. – Неудачные попытки Петра III он отказывается от престола.

Большинство встретило мрачно новое царствование: знали характер нового государя и не ждали ничего хорошего. Меньшинство людей, обещавших себе важное значение в царствование Петра III, разумеется, должно было стараться рассеять грустное расположение большинства, доказывать, что оно обманывается в своих черных предчувствиях.

«Бесконечна будет навеки память в бозе опочивающей государыни императрицы. Бесконечно и наше к подателю всех благ благодарение, когда видим, что его императ. величество, вступая на прародительский престол, милосердие и щедроты на всех изливает, как милосердая Елисавета, и к трудам в государственном правлении спешит и прилежит, как неутомленный Великий Петр; а ее величество государыня императрица, непрестанно посещая тело любезнейшей своей тетки и смешивая свои слезы со слезами приходящих для прощения, самое то бремя на себя снимать является, которое налагает на нас естество и усердная любовь к имени и крови Петра Великого».

Так окончил свое описание кончины Елисаветы конференц-секретарь Волков. Новый император сравнен здесь с покойною теткою своею относительно милосердия и щедрот. На какие же щедроты можно было указать? От нового правителя ждут обыкновенно милосердия к опальным прошедшего царствования. На другой день по вступлении на престол Петра, 26 декабря, по именному указу велено было прекратить следствие над губернаторами Солтыковым и Пушкиным; но здесь могли видеть заступничество сильных людей за свою братью; только после услышали об освобождении людей, долго страдавших в заточении, хотя и тут чуждые и даже ненавистные имена мешали впечатлению. 17 января подписаны были указы о возвращении из ссылки сына Менгдена, жены, сына и дочери Лилиенфельда, Натальи Лопухиной, Миниха с сыном; двое последних могли возвратиться в Петербург, остальным запрещено было въезжать туда, где живет император. Знаменитый сложностью и обширностью своего следственного дела пензенский воевода Жуков освобожден из-под ареста. По указу 4 марта возвращен из Ярославля в Петербург бывший герцог Бирон с фамилиею. Легко себе представить, с каким любопытством и старые, и молодые смотрели на этих когда-то заклятых врагов, Бирона и Миниха, появившихся во дворце и обществе. Миних, несмотря на лета и несчастья, отличался большою живостью и умел стать одним из близких людей к императору. 6 мая состоялся указ: вместо взятого у генерал-фельдмаршала графа Миниха на Васильевском острове каменного двора, в котором теперь Морской корпус, купя из казны за 25000 рублей у шталмейстера Нарышкина состоящий на Адмиралтейской стороне, близ Семеновского моста, каменный двор, отдать графу Миниху в вечное и потомственное владение. Возвращены были Миних и Бирон; этой паре соответствовала другая пара таких же заклятых врагов, сосланных при Елисавете: то были Лесток и Бестужев-Рюмин; о Лестоке было кому напомнить: в первый же день восшествия на престол, 25 декабря, канцлер граф Воронцов подал императору доклад, в котором между прочим находилась статья «О помиловании и освобождении из ссылки несчастного графа Лестока» Но понятно, что в докладах Воронцова мы не найдем статьи о возвращении из ссылки *несчастного* графа Бестужева; да и, кроме Воронцова, никто из имевших доступ к императору и влияние на него не имел побуждений просить за Бестужева; подле Петра III не было ни одного человека, расположенного к бывшему канцлеру, а сам Петр был сильно нерасположен к нему. У иностранцев находим известие, будто Петр объявил Воронцову, Волкову и Глебову относительно Бестужева: «Я подозреваю этого человека в тайном соумышленничестве с моею женою и, кроме того, держу в памяти, что покойная тетушка на смертном одре говорила мне о Бестужеве: она мне строго наказывала никогда не освобождать его из ссылки» Разумеется, мы не можем вполне успокоиться на этом известии, потому что свидетели подозрительны – Воронцов, Волков и Глебов; но, как бы то ни было, Лесток был возвращен, а Бестужев по-прежнему остался в ссылке. Впечатление, произведенное этим на беспристрастное большинство, представить легко: возвращен Лесток, возвращен Бирон, возвращены другие люди с чуждыми именами; не возвращен один русский человек, так долго и деятельно служивший русским интересам.

Но быть может, другие милости изглаживали неприятное впечатление; быть может, радовались приближению к государю людей достойных, удалению от него людей, не слывших благонамеренными?

25 декабря, когда Елисавета находилась при последнем издыхании, за две комнаты от спальни умирающей поместились бывший генерал-прокурор князь Никита Юр. Трубецкой и бывший обер-прокурор Сената, теперь генерал-кригскомиссар Александр Ив. Глебов. Здесь, расположась за письменным столом, подзывали они к себе то того, то другого из людей, близких к наследнику, перешептывались с ними, потом что-то писали и ходили как будто с докладами или для получения наставлений к великому князю, который большею частью находился перед спальнею умирающей тетки. Тут же, между прочими придворными, в страшном горе, как тени, *шатались* два старика: один – птенец Петра Великого, знаменитый сенатор и конфе-

ренц-министр Ив. Ив. Неплюев, другой – генерал-прокурор князь Шаховской. Но присутствие этих стариков было неприятно людям, ходившим с докладами к наследнику, и Неплюеву с Шаховским именем великого князя было сделано внушение, чтоб они удалились. Вскоре после этого Шаховской должен был опять отправиться во дворец, потому что получил повестку о кончине императрицы. Не ожидая для себя ничего хорошего в новое царствование, Шаховской обратился к одному из приближенных императора – Льву Александр. Нарышкину, чтоб тот доложил Петру его просьбу об увольнении от всех дел. Просьба была исполнена: того же 25 декабря Шаховской был уволен от всех дел, а генерал-прокурором назначен Глебов, оставшийся и генерал-кригскомиссаром, потому что не хотелось расстаться с доходною должностью. Того же числа была оказана милость Воронцовым, одной из наиболее любимых фамилий: родной брат канцлера, дядя фаворитки Елизаветы Романовны Воронцовой Иван Ларионович был назначен сенатором и отправлен в Москву на первенствующее место в старой столице – место управляющего Сенатскою конторою. Через два дня, 28 декабря, узнали о других милостях: фельдмаршал князь Никита Юр. Трубецкой был пожалован в подполковники Преображенского полка (полковником был сам государь); Шуваловы, Петр и Александр, были произведены в фельдмаршалы. Граф Петр недолго пользовался почестями нового звания: дни его уже были сочтены; но, несмотря на тяжкую болезнь, истощившую его силы, он жаждал государственной деятельности и велел перенести себя на руках из собственного дома в дом своего приятеля, выведенного им в люди, нового генералпрокурора Глебова, потому что Глебов жил ближе ко дворцу. Император не только сносился с ним через Глебова, но и сам часто приезжал к нему говорить о делах, но такое умственное напряжение, как думали тогда, ускорило смерть графа Петра, последовавшую 4 января. Ив. Ив. Шувалов сосредоточил в своих руках управление тремя корпусами – сухопутным, морским и артиллерийским – и, оставаясь куратором Московского университета, был, таким образом, как бы министром новорожденного русского просвещения; только Академия наук находилась по-прежнему под президентством графа Кирилла Разумовского. О старшем Разумовском, графе Алексее, 6 марта был объявлен указ: «Генерал-фельдмаршалу графу Разумовскому быть уволенным и вечно свободным от всей военной и гражданской службы, с тем что, как у двора, так и где б он жить ни пожелал, отдается ему по чину его должное почтение, обещая его импер. величество сами сохранить к нему непременно милость и высочайшее благоволение».

На пятый месяц царствования обозначились лица, пользовавшиеся особенным расположением и доверием императора. 20 мая Сенат слушал указ: «Чтоб многие его импер. в-ства к пользе и славе империи его и к благополучию верных подданных принятые намерения наилучше и скорее в действо произведены быть могли, то избрали его импер. в-ство трудиться под собственными его импер. в-ства руководством и призрением над многими до того принадлежавшими делами его высочества герцога Георгия, его светлость принца Голштейн-Бекского, генерал-фельдмаршала Миниха, генерал-фельдмаршала князя Трубецкого, канцлера графа Воронцова, генерал-фельдцейхмейстера Вильбоа, генерал-поручика князя Волконского, генерал-поручика Мельгунова и действ. статск. советника тайного секретаря Волкова».

На первых местах в этом совете видим родственников императора по отцу принцев голштинских. Первый, дядя Петра III принц Георгий, генерал прусской службы, вызванный в Россию тотчас по восшествии на престол Петра, который был чрезвычайно к нему привязан: он произвел его в генерал-фельдмаршалы и полковники лейб-гвардии Конного полка с жалованием по 48000 рублей в год. Другой принц, Петр-Август-Фридрих Голштейн-Бекский, был сделан фельдмаршалом, петербургским генерал-губернатором, командиром над всеми полевыми и гарнизонными полками, находившимися в Петербурге, Финляндии, Ревеле, Эстляндии и Нарве. Следующие три члена совета – Миних, Трубецкой и Воронцов – нам известны. Генерал-поручик Вильбоа получил должность генерал-фельдцейхмейстера, праздную по смерти графа Петра Ив. Шувалова; как видно из отзывов современников, Вильбоа пользовался хоро-

шею репутациею. Князь Волконский нам известен особенно как посланник в Польше. Генерал-поручик Алексей Петр. Мельгунов выдвинулся с помощью Ив. Ив. Шувалова и сблизился с Петром при Елисавете по управлению кадетским корпусом, которого великий князь был шефом. Наконец, Волков приобрел славу самого искусного составителя рескриптов во время управления своего канцеляриею конференции; кроме того, мог быть указан Шуваловыми и Воронцовым как человек преданный и занял место в новом совете, какое занимал в прежней, упраздненной теперь конференции: с 31 января Волков назывался тайным секретарем.

Если к этим членам нового совета присоединим генерал-прокурора Глебова и Ив. Ив. Шувалова, то исчерпаем круг людей, хотевших и могших иметь влияние на важные правительственные решения в начале царствования Петра III, ибо люди близкие, как-то: генерал-адъютанты Гудович и Унгерн-Штернберг и шталмейстер Лев Нарышкин, этого влияния иметь не могли.

17 января император прибыл в Сенат, где оставался от 10 до 12 часов. Тут он подписал указы о возвращении из ссылки Менгдена, Лилиенфельдов, Минихов, Лопухиной; потом соизволил указать: в продаже соли цену уменьшить и положить умеренную, если совсем вольною торговлею сделать нельзя, о чем Сенату рассуждать. Кронштадтскую гавань, которая весьма повреждена, так что с трудностью корабли приставать могут, немедленно починить, углубляющую и обделывая камнем. Сенату рассуждать, как бы Рогервицкую гавань доделывать вольными людьми, а каторжных перевести в Нерчинск. Тут же Петру доложено было предложение покойного графа Петра Ив. Шувалова о водяном сообщении от реки Волхова до Рыбной слободы; в предложении говорилось: от слободы Рыбной чрез Тверь, Боровицкие пороги, Новгород до Новой Ладogi суда ходят 1120 верст, а есть от Рыбной слободы до Новой Ладogi другой водяной тракт, а именно: от Рыбной реками Волгою, Мологою, Чагодошею, Горюном, озером Соминским, рекою Соминою, речкою Болчинкою, озером Крупиным, рекою Тихвиною, Сясю, а из Сяси надобно быть каналу до реки Волхова и против Ладожского канала прямо на семи верстах; этим трактом всего 592 версты. Сенат доложил при этом, что для освидетельствования и описания этого тракта отправлен был генерал-лейтенант Рязанов, который уже исполнил свое поручение. Император рассмотрел планы, одобрил и приказал всю эту работу производить вольными людьми.

В то же заседание император приказал Сенату иметь попечение о Петербурге, которого строение происходит весьма обширно и по большей части деревянное; надобно стараться его ограничить и производить строение каменное, и хотя не очень пространно, но регулярно и более в вышину, нежели в широту. За этим император приказал Сенату иметь конференцию с Синодом о монастырских крестьянах. В заключение Петр объявил свое решение относительно дворянской службы: «Дворянам службу продолжать по своей воле, сколько и где пожелают, и когда военное время будет, то они все явиться должны на таком основании, как и в Лифляндии с дворянами поступается». На другой день, 18 января, генерал-прокурор Глебов словесно предложил: не соизволит ли Прав. Сенат в знак от дворянства благодарности за оказанную к ним всевысочайшую милость о продолжении их службы по своей воле, где пожелают, сделать его импер. величества золотую статую, расположа от всего дворянства, и о том подать его импер. величеству доклад? Доклад не был утвержден; есть известие, что император отвечал: «Сенат может дать золоту лучшее назначение, а я своим царствованием надеюсь воздвигнуть более долговечный памятник в сердцах моих подданных». Только через месяц, 18 февраля, был обнародован манифест о вольности дворянской; в нем император говорил, что при Петре Великом и его преемниках нужно было принуждать дворян служить и учиться, отчего последовали неисчетные пользы; истреблена грубость в нерадивых о пользе общей, переменилось невежество в здравый рассудок, полезное знание и прилежность к службе умножили в военном деле искусных и храбрых генералов, в гражданских и политических делах поставили сведущих и годных людей к делу — одним словом заключить, «благородные мысли вкоренили в сердцах

всех истинных России патриотов беспредельную к нам верность и любовь, великое усердие и отменную к службе нашей ревность, а потому и не находим мы той необходимости в рассуждении к службе, какая до сего времени потребна была». Все дворяне, на какой бы службе они ни находились, на военной или на гражданской, могли продолжать ее или выйти в отставку; но военные не могли проситься в отставку и брать отпуск во время кампании и за три месяца до ее начатия. Неслужащий дворянин мог беспрепятственно ехать за границу и вступать в службу иностранных государей, но обязан был возвратиться со всевозможною скоростью по первому призыву правительства. «Мы надеемся, – говорилось в манифесте, – что все благородное российское дворянство, чувствуя толикие наши к ним и потомкам их щедроты, по своей к нам всеподданнической верности и усердию побуждены будут не удаляться ниже укрываться от службы, но с ревностью и желанием в оную вступать и честным и незасорным образом оную по крайней возможности продолжать, не меньше и детей своих с прилежностью и рачением обучать благопристойным наукам, ибо все те, кои никакой и нигде службы не имели, но только как сами в лености и праздности все время препровождать будут, так и детей своих в пользу отечества своего ни в какие полезные науки не употреблять, тех мы, яко суще нерадивых о добре общем, презирать и уничтожать всем нашим верноподданным и истинным сынам отечества повелеваем, и ниже ко двору нашему приезд или в публичных собраниях и торжествах терпимы будут».

Здесь прежде всего останавливает нас то обстоятельство, что манифест о вольности дворянской явился спустя месяц после того, как император объявил свою волю в Сенате. Зная характер Петра, мы не удивимся этому. Люди приближенные, желавшие удержать за собою важное значение в новое царствование и естественно желавшие сообщить этому царствованию блеск и популярность, рассеять мрачные мысли тех, которые знали, в чьих руках теперь судьбы России, – люди, приближенные к Петру, постарались внушить ему о необходимости принять некоторые меры, которые облегчат, обрадуют народ; в числе этих мер было и желанное многими освобождение дворян от обязательной службы. Император заявил все эти меры в одно присутствие в Сенате; но, заявив свою волю об освобождении дворян от службы, он не поручил Сенату заняться делом, обдумать его хорошенько и поднести доклад на высочайшее утверждение. Воля императора была заявлена; Сенат пошел с докладом о золотой статуе, получил в ответ не очень скромную фразу, и все дело этим кончилось, император занялся другими делами. Понятно, что люди, которым дорога была слава царствования и которым хотелось поскорее объявить и привести в исполнение популярную меру, очень беспокоились, видя, что о ней забывают. Князь Щербатов в известном сочинении своем «О повреждении нравов в России» передает рассказ, слышанный им от Дмитр. Вас. Волкова, как император, желая скрыть от фаворитки графини Елизаветы Романовны Воронцовой свои ночные забавы, сказал при ней Волкову, что хочет провести с ним всю ночь в занятиях важным делом, касающимся государственного благоустройства. Ночь наступила, Петр пошел веселиться, сказавши Волкову, чтоб он к утру написал какой-нибудь важный указ, и Волков был заперт в пустую комнату с датскою собакою. Несчастный секретарь не знал, о чем писать, а писать надобно; наконец вспомнил он, о чем всего чаще твердил государю граф Роман Ларионович Воронцов – именно о вольности дворянской. Волков написал манифест, который на другой день был утвержден государем.

Ясно, что рассказ Щербатова или Волкова относится к написанию манифеста, а не к первой мысли о вольности дворянства, ибо мысль была заявлена месяц тому назад. Рассказ этот важен для нас потому, что открывает человека, который твердил императору о вольности дворянской: то был граф Роман Воронцов, особенно заинтересованный популярностью нового царствования по отношениям своего семейства к императору. Но представляются сомнения насчет справедливости щербатовского рассказа; говорят, что манифест был написан не Волковым, а Глебовым, и приводят об этом свидетельство Штелина; но по какому праву мы будем верить более Штелину, чем Щербатову или самому Волкову? Говорят, что тот же Волков в

оправдательном письме своем, написанном по восшествии на престол Екатерины II, ни пол-слова не говорит, что он был сочинителем манифеста о вольности дворянской, в том месте письма, где хвалится произведениями своего пера. Действительно, Волков не говорит, что написал манифест о вольности дворянской; но и не говорит, что не писал его, следовательно, нисколько не противоречит своему рассказу, приведенному Щербатовым. Волков говорит: «Что ж до внутренних дел надлежит, то главные моих трудов суть три: 1) о монастырских вотчинах; 2) о Тайной канцелярии и 3) пространный указ о коммерции», а что он не включил манифеста о вольности дворянской в число главных трудов своих, заблагорассудил умолчать о нем, на то он имел важные причины. Как человек очень умный, Волков не мог не сознавать, что манифест написан плохо; да и трудно было написать лучше без продолжительного и все-стороннего обсуждения такого важного дела. С одной стороны, слышались сильные жалобы, что дворяне, обязанные вечною службою, не могут заниматься устройством своих имений; с другой стороны, недостаток в людях, необходимость для государства поддержать свое значение и выгоды многочисленным регулярным войском не позволяли ему освободить дворян от обязательной службы. Давно уже принимались меры для соглашения интересов государства с интересами землевладельцев: продолжительные отпуска при Екатерине I, сокращение срока службы при Анне. Манифестом 1736 года дворянин обязан был служить только 25 лет начиная от двадцатилетнего возраста; но когда явилось слишком много охотников воспользоваться законом о двадцатипятилетнем сроке, то в 1740 году правительство ввиду войны принуждено было всячески затруднять увольнение в отставку, и потому, как видно, двадцатипятилетний срок остался только на бумаге, ибо Ив. Ив. Шувалов в предложении своем императрице Елисавете о фундаментальных законах говорит: «Дворянину служить 26 лет, считая от времени действительной службы его, т.е. от 20 лет возраста». Этот двадцатишестилетний срок, назначаемый Шуваловым, показывает нам, с какою осторожностью самые образованные и либеральные люди относились тогда к вопросу о дворянской вольности относительно службы: их пугала мысль, что множество дворян выйдет в отставку, некоторые действительно для хозяйственных занятий, но другие для праздной жизни в имениях, и многие места в войске останутся незанятыми, вследствие чего нужно будет наполнять их иностранцами. Страх пред усилением иностранного элемента в войске заставил того же Шувалова предложить как фундаментальный закон, чтоб в гвардии, армии и флоте три части генералов и офицеров были русские, а четвертая – лифляндцы, эстляндцы и иностранные.

В манифесте 18 февраля не только не было указано никаких мер против слишком большого выхода в отставку и против нерадения о воспитании дворян, но даже ничего не было упомянуто о том призыве дворян к службе, на который указал император в Сенате: «Когда военное время будет, то они все явиться должны на таком основании, как и в Лифляндии с дворянами поступается». Манифест 18 февраля должен был очень обрадовать многих; но эту радость в такой степени не могли разделять дворяне, занимавшие высшие должности, которые имели все побуждения продолжать службу, дававшую им значение и выгоды. У этих людей гораздо больше на сердце были другие льготы – освобождение от телесного наказания, уничтожение конфискации дворянских имуществ. Ив. Ив. Шувалов внес в свой проект фундаментальных законов: «Впадшее в преступление дворянство теряет только конфискацию собственно нажитое собою имение, а не родовое. От бесчестной политической казни дворянство свободить». Этих-то наиболее желанных льгот дворянству не было дано, а без них свобода от службы не имела особенно важного значения, особенно для дворян, составлявших высший петербургский круг, пред которым Волков и был в ответе. Здесь, в этом кругу, хвалиться манифестом 18 февраля было неудобно, и Волков ловко обошел его, не поставив его в число *главных* дел своих.

В числе этих трех главных трудов, которыми хвалится Волков, был труд о Тайной канцелярии. 7 февраля император объявил в Сенате, что отныне Тайной розыскных дел канцелярии быть не имеет. 21 февраля издан был манифест, в котором говорилось: «Всем известно, что к

учреждению тайных розыскных канцелярий, сколько разных имен им ни было, побудили вселюбезнейшего нашего деда, государя императора Петра Великого, монарха великодушного и человеколюбивого, тогдашних времен обстоятельства и не исправленные еще в народе нравы. С того времени от часу меньше становилось надобности в помянутых канцеляриях; но как Тайная канцелярия всегда оставалась в своей силе, то злым, подлым и бездельным людям подавался способ или ложными затеями протягивать вдаль заслуженные ими казни и наказания, или же зlostнейшими клеветами обносить своих начальников или неприятелей. Вышеупомянутая Тайная розыскных дел канцелярия уничтожается отныне навсегда, а дела оной имеют быть взяты в Сенат, но за печатью к вечному забвению в архив положатся. Ненавистное выражение, а именно „слово и дело“, не долженствует отныне значить ничего, и мы запрещаем: не употреблять оного никому; о сем, кто отныне оное употребит в пьянстве, или в драке, или избегая побоев и наказания, таковых тотчас наказывать так, как от полиции наказываются озорники и бесчинники. Напротив того, буде кто имеет действительно и по самой правде донести оумысле по первому или второму пункту, такой должен тотчас в ближайшее судебное место или к ближайшему же воинскому командиру немедленно явиться и донос свой на письме подать или донести словесно, если кто не умеет грамоте. Все в воровстве, смертоубийстве и в других смертных преступлениях пойманные, осужденные и в ссылки, также на каторги сосланные колодники ни о каких делах доносителями быть не могут. Если явится доноситель по первым двум пунктам, то его немедленно под караул взять и спрашивать, знает ли он силу помянутых двух пунктов, и если найдется, что не знает и важным делом почел другое, так тотчас отпускать без наказания. Если же найдется, что доноситель прямое содержание двух первых пунктов знает, такого спрашивать тотчас, в чем самое дело состоит; когда же дело свое доноситель объявит, а к доказательству ни свидетелей, ниже что-либо достоверного на письме не имеет, такого увещивать, не напрасно ли на кого затеял. Если доноситель не отречется от своего доноса, то посадить его на два дня под крепкий караул и не давать ему ни питья, ни пищи, но оставить ему все сие время на размышление; по прошествии же сих дней паки спрашивать со увещанием, истинен ли его донос, и буде и тогда утвердится, в таком случае доносителя под крепким караулом отсылать, буде близко от Санкт-Петербурга или Москвы, то в Сенат или Сенатскую контору, буде же нет, то в ближайшую губернскую канцелярию, а того или тех, на кого он без свидетеля или письменных доказательств доносит, под караул не брать, ниже подозрительными не почитать до того времени, пока дело в вышнем месте надлежаще рассмотрено будет и об тех, на кого донесено, указ воспоследует. Буде же доказатель имеет и доказательства, и свидетелей, что донос его прав, то и доносителя, и свидетелей, и тех или того, на кого донос, забрав под крепкий караул, тотчас доносить со всеми обстоятельствами в наш Сенат и ожидать указа. Если кто из дворян, офицеров или знатного купечества доносителем найдется и в первом судебном месте в том утвердится, такого тотчас под крепким караулом для исследования отсылать в Сенат, но до указа из оного, однако ж, отнюдь не забирать под караул и подозрительными не почитать тех, на кого донос будет. Что до резиденции принадлежит, то сведение дел, могущих касаться до двух первых пунктов, нарочно нам самим представляется, дабы показать и в том пример, как можно и надлежит кротостью исследования, а не кровопролитием прямую истину разделять от клеветы и коварства, и смотреть, не найдутся ли способы самим милосердием злонравных привести в раскаяние и показать им путь к своему исправлению; но как не всякий и с справедливым своим доносом может иногда так скоро до нас дойти, как того нужда требовала бы, да притом и то отвращать надлежит, чтоб позволением свободного каждому доступа не поострить людей к доносам, то повелеваем, чтоб каждый, кто имеет нам донести о деле важном, справедливом и действительно до двух первых пунктов принадлежащем, приходил с оным без всякого опасения к нашим генерал-поручикам Льву Нарышкину и Алексею Мельгунову да тайному секретарю Дмитрию Волкову, кои для того монаршею нашею доверенностью удостоены».

Давно уже жаловались, что Сенат обременен судными делами по апелляциям и не имеет времени заниматься государственными делами. Ив. Ив. Шувалов предлагал императрице Елисавете: «В Москве учредить в Сенатской конторе несколько сенаторов, придав к ним достойных членов, дабы апелляционных челобитчиков дела вершались, а Сенату оставили время для дел государственных». Теперь эту мысль поспешили привести в исполнение, учредили особый департамент, только не в Москве, а в Петербурге. 29 января Сенат слушал именной указ: «Его импер. величеству известно, что в Сенате, Юстиц- и Вотчинной коллегии и в Судном приказе нерешенных дел умножилось: так, для лучшего порядка и скорейшего решения указов как в Сенате для решения юстицких, вотчинных и всяких апелляционных дел учинить особый департамент, так и в Юстиц- и Вотчинной коллегиях, и в Судном приказе учредить для челобитчиковых дел в каждом месте по три департамента; в Сенате быть из сенаторов трем или четверем особам, а в коллегиях и приказе – из членов тех мест, и правление дел в этих департаментах расписать по губерниям; когда же департаментам чего-либо решить собою нельзя будет, с такими делами приходить в полное собрание». В тот же день последовал указ: конференции не быть и дела из нее принять в Сенат и в Иностранную коллегию; но мы видели, что 20 мая учреждено было что-то безымянное, чтоб намерения императора «наилучше и скорее в действие произведены быть могли». В члены этого безымянного учреждения из сенаторов вошли только двое: канцлер граф Воронцов и фельдмаршал князь Никита Юр. Трубецкой. Сенат в это время состоял из 13 членов кроме генерал-прокурора; эти члены были: граф Михаил Лар. Воронцов, граф Роман Лар. Воронцов, князь Никита Юр. Трубецкой, князь Петр Никитич Трубецкой, князь Мих. Мих. Голицын, кн. Алексей Дмитр. Голицын, граф Александр Шувалов, князь Ив. Вас. Одоевский, Ив. Ив. Неплюев, Александр Борис. Бутурлин, Александр Григ. Жеребцов, Петр Спиридон. Сумароков, Ив. Ив. Кастюрин.

Сенат спешил окончить дело, тянувшееся с 1757 года, – дело о церковных имениях. 7 января он пересмотрел дело и решил иметь с Синодом общую конференцию, приняв те основания соглашения, чтоб монастырские крестьяне платили по 50 копеек в казну и по 50 копеек в монастырь или архиерейский дом, которым принадлежали. 17 января сам император приказал Сенату иметь конференцию с Синодом о крестьянах на положенном основании. Но это намерение было отклонено; сочли нужным повернуть дело покруче, и 16 февраля дан был именной указ: «Как ее величество государыня императрица Елисавета Петровна, соединяя благочестие с пользою отечества и премудро различая вкравшиеся злоупотребления и предубеждения от прямых догматов веры и истинных оснований православных восточных церкви, за потребно нашла монашествующих, яко сего временного жития отрекшихся, освободить от житейских и мирских попечений и вследствие того, присутствуя своею особою в тогдашней конференции, а именно 30 сентября 1757 года, сама такое полезное всему государству о управлении архиерейских и монастырских вотчин узаконение положить изволила, которое одно независимо от прочих великих ее импер. величества дел и благодеяний своему отечеству достаточно было бы учинить славную ее память бессмертною: но хотя его императ. величество, присутствуя недавно сам в Сенате, и повелели помянутое узаконение немедленно и обще с Синодом в действительное исполнение привести, однако же как в рассуждении важности сей материи, так и дабы паки в бесплодных порешенных толь справедливо и предусмотрительно делу советованиях и сношениях не тратить напрасно время восхотели его импер. величество чрез сие точнее Сенату повелеть, чтобы вышеизображенное узаконение императрицы Елисаветы Петровны как наискорее по точному и прямому содержанию без всякого изъятия самым делом в действо произведено и непременно навсегда исполняемо было. За потребно еще его импер. величество находит указ императора Петра Великого о непострижении в монастыри без особых именных указов подтвердить чрез сие во всем его содержании и силе». По этому указу должна была выполняться и первоначальная мысль Елисаветы, чтоб монастырские имения управлялись не монастырскими служками, но отставными штаб- и обер-офицерами, и Сенат приказали: 1) для

управления всех синодальных, архиерейских, монастырских и к церквям приписанных вотчин быть коллегии Экономии, в которую определить президента с членами и прокурора наравне с другими коллегиями, и состоять ей под ведомством Сената; 2) крестьянам платить рубль, причем отдать им землю, которую они прежде пахали на архиереев, монастыри и церкви; 3) доход собирать весь на монастыри, но употреблять из него в расход только то, что по штатам положено, а остальное хранить так, чтоб, всегда зная о числе сберегаемой суммы, раздавать из нее на монастырское строение. Коллегии Экономии стараться всем монастырям и пустыням, располагая их по классам, сочинить штаты, после чего платить: монахам денег по 6 рублей, хлеба по 5 четвертей, дьяконам по 8 рублей и хлеба по 7 четвертей, казначею 18 рублей и 8 четвертей, наместнику 24 рубля и 8 четвертей, проповеднику 30 рублей и 30 четвертей, игумену 50 рублей и 8 четвертей, архимандриту 100 рублей и 8 четвертей; второго класса монастыри получают половинное против этого содержание. Находящихся в монастырях отставных офицеров и рядовых, которых всех 1358 человек, содержать коллегии на прежде определенном жалованье. Президентом в коллегию Экономии определен тайный советник князь Василий Оболенский. Во всенародное известие это распоряжение объявлено было в указе 21 марта: здесь троим архиереям – московскому, новгородскому и с.-петербургскому – определено годовое содержание в 5000 рублей, остальным архиереям – в 3000 да на содержание семинарий – по 3000 рублей; архимандритам: «первого класса ставропигиальным десяти монастырям – по 500 рублей, а прочим половине второго класса – по 200 рублей, а последним – третьего класса – по 150 рублей каждому в год, против того ж на три класса все монастырские в штате определенные расходы расположены быть имеют». Но когда еще не было ничего сделано для того, чтоб новое учреждение получило правильное движение, когда монастыри еще не были распределены на классы, не были окончательно составлены штаты, 4 апреля Сенату был объявлен именной указ: «Со времени высочайших указов 16 февраля и 21 марта (с какого же именно времени?) все собранные денежные суммы возратить и содержать впредь на определенные тем епархиям по тому указу расходы; а с крестьян во всех тех епархиях никаких сборов не чинить и посланных от них (т.е. от епархий) для того взыскания из тех вотчин выслать».

Волков в своем оправдательном письме говорит: «Что ж до внутренних дел надлежит, то главные моих трудов суть три: 1) о монастырских вотчинах; 2) о Тайной канцелярии и 3) пространный указ о коммерции. На первый поступал я тем охотнее, что и дело казалось мне справедливое, и рад я был случаю воздать должную хвалу памяти покойной государыни императрицы. Но по несчастью, перепорчена в Сенате совсем вся сия история». Каким образом, однако, история перепорчена была в Сенате, об этом Волков не говорит и мы не знаем. Мы знаем, что Сенат должен был 1 июня поднести императору доклад: положенный с архиерейских и монастырских крестьян годовой оброк по рублю с души высочайше повелено начать собирать со второй половины этого года, который «сбор не иначе как в исходе этого года начат будет, а между тем на монастырские и жалованные монашествующим и отставным дачи производить не из чего; а как те вотчины из владения архиереев и монастырских властей выбыли почти с начала этого года, т.е. от марта месяца, к тому ж и земли крестьянам отданы, то не соизволит ли ваше импер. величество указать с архиерейских и монастырских крестьян оклад по рубелю взять на весь нынешний 1762 год при наступлении первого платежа подушных денег?». Император подтвердил доклад.

Соперник Волкова по участию в главных трудах, по сочинению манифестов генерал-прокурор Глебов 29 января объявил Сенату именной указ, что государь позволяет бежавшим в Польшу и другие заграничные страны раскольникам возвратиться в Россию и поселиться в Сибири, в Барабинской степи и других подобных местах, причем им не должно делать никакого препятствия в содержании закона по их обыкновению и старопечатным книгам, ибо «внутри Всероссийской империи и иноверные, яко магометане и идолопоклонники, состоят, а те раскольники – христиане, точию в едином застарелом суеверии и упрямстве состоят, что отвра-

щать должно не принуждением и огорчением их, от которого они, бегая за границу, в том же состоянии множественным числом проживают бесполезно». Вслед за тем Сенат дал указ разведать, нет ли где раскольнических для сожжения своего сборищ, и если такие богомерзкие сборища где окажутся, то немедленно посылать туда достойных людей и велеть им всячески стараться чрез увещания от такого пагубного намерения удерживать и спрашивать их, для чего они хотят это делать; если будут показывать, что такое намерение приняли они от притеснений и забирания под караул, то уверить их, что производимые о них следствия уже велено уничтожить, и действительно их теперь оставить, и содержащихся под караулом тотчас отпустить по домам, и вновь никого не забирать. В Петербург явился Афанасий Иванов, поверенный записных раскольников, разных лесов келейных жителей Нижегородской губернии, Балахонского и Юрьево-Введенского уездов. Иванов подал в Сенат просьбу, в которой раскольники жаловались, что терпят притеснения от духовных правлений из-за взяток; что в 1716 году в Нижегородской губернии по переписи было раскольников обоего пола до 40000 душ, в том числе келейных жителей до 8000; но от притеснений принуждены они были разойтись врознь, и теперь осталось не более 5000 душ; раскольники просили, чтобы положенные на них деньги платить прямо в Раскольническую контору, а для защиты от обид приписать их к железному Верхисетскому заводу графа Романа Лар. Воронцова навеки. Сенат приказал для защиты этих раскольников назначить из отставных обер-офицеров опеку – на человека достойного, на которого в этом деле можно было бы положиться, и деньги за раскол платить им прямо в Раскольничью контору.

Раскольники просили приписать их к заводу; но крестьяне, приписные к заводам верхо-турского купца Походяшина, подали жалобу на хозяина, и Сенат нарядил следствие; через полтора месяца подали челобитную крестьяне, приписные к заводам графа Ив. Григ. Чернышева и Демидовых, Николая и Евдокима, жаловались, что управители и приказчики притесняют их, бьют, а некоторых и до смерти убили. Сенат поручил следствие генерал-майору Кокошкину и полковнику Лопатину. Так как до сих пор волновались преимущественно крестьяне, приписные к фабрикам и заводам, то запрещено было фабрикантам и заводчикам покупать деревни с землями и без земель, пока не будет конфIRMовано новое уложение, велено им довольствоваться вольнонаемными людьми. Но скоро пришло известие и о волнениях пашенных крестьян. В вотчинах стат. советника Евграфа Татищева (сына знаменитого Василия Никитича) и гвардии поручика Петра Хлопова в Тверском и Клинском уездах крестьяне отложились от помещиков по научению тверского отставного подьячего Ивана Собакина, у Татищева хоромы срыли и разбросали, у Хлопова дом, и житницы с хлебом, и оброчные деньги разграбили, а помещикам своим приказывали сказать, чтоб они к ним не ездили, приказчиков и дворовых людей хотели побить до смерти и из вотчин выбили вон. Вслед за тем поступили донесения от прокурора Московской губернской канцелярии Зыбина о возмущении его белевских крестьян, от княгини Елены Долгорукой о возмущении галицких, от капитана Балк-Полева – каширских, коллеж, советника Афросимова – тульских и епифанских, жены полковника Дмитриева-Мамонова – волоколамских. У Татищева возмутилось 700 душ, у Хлопова – 800, у Зыбина – 340, у кн. Долгорукой – 2000, у Балк-Полева – 950, у Афросимова – 650, у Дмитриева-Мамонова – 400. Кроме того, в Волоколамском уезде, в сельце Вишенках, староста и крестьяне с дубьем пришли в дом помещицы Эрчаковой, ругали ее и выгнали из сельца. В Сенат явилось четверо крестьян Татищева с жалобой на помещика, что он немалое число из них развел в другие свои деревни и берет к себе в дворовые люди; остальные всегда на его работе, и взыскивает с них оброк с прибавкою и рекрутские деньги. Сенат велел этих крестьян наказывать нещадно плетями, Собакина сыскивать всеми способами, а против возмутившихся крестьян послать военную команду. Но крестьяне Татищева и Хлопова напали на команду, ранили одного офицера, солдаты были все побиты или ранены, а 64 человека не явились, и, где находятся, никто не знал. После получены были подробнейшие известия: крестьяне разбили команду, расвирепев от того, что она убила у них трех человек и переранила до двенадцати человек; крестьяне захва-

тили 64 человека солдат и держали под караулом три дня, потом отправили в Тверь с посторонним сотским, а с лошадьми послали пятерых крестьян с женщинами и детьми. По решению Сената против них отправлена была команда из 400 человек и с четырьмя пушками; но по указу императора отправлен был генералмайор Виттен с кирасирским полком. Наконец, в Вяземской Воскресенской волости 1000 человек крестьян князей Долгоруких прибили и разграбили приказчиков и послали в Сенат с просьбою приписать их к дворцовым волостям.

Волнение обнаружилось и в Москве между фабричными рабочими. Содержатель главной московской суконной мануфактуры Василий Суровщиков донес, что мастеровые и рабочие, согласясь с находящимися на той фабрике солдатскими детьми, присланными из школ по непонятности к учению, начали волноваться, как прежде в 1746 и 1749 годах. В последних числах февраля суконщик Федор Андреев сказал за собою *важность*, почему и отослан в Мануфактур-контору; и в то же время некоторые из солдатских детей подали доношение в Главный комиссариат с жалобою, что удерживаются у них заработанные деньги и дается на делание сукон негодная шерсть. 22 февраля юнкер князь Мещерский и два солдата привели суконщика Андреева из Мануфактур-конторы, с тем чтоб наказать за ложную важность; но когда хотели наказывать при собрании всех фабричных, то суконщик стал противиться, а солдатские дети подняли страшный крик и наказывать его не дали. Юнкер отвел Андреева назад в Мануфактур-контору без наказания; а солдатские дети прибили начальствующего над ними сержанта и немалыми партиями стали своевольно отлучаться от суконного дела, некоторые стали разглашать, что посланные в 1749 году в ссылку возвращены, а содержатель Суровщиков по прошению их в Петербурге под арестом.

Но более всего озабочивали Сенат финансы. Мы видели, что Волков хвалился «посторонним указом о коммерции» как своим произведением. Указ этот был написан по поводу просьбы Шемякина и Саввы Яковлева об отдаче им на откуп таможенных сборов еще на 10 лет. Таможенный сбор был им отдан на откуп, но тут же приказано вывозить хлеб беспрепятственно из всех портов, не исключая лежащих на Каспийском и Черном морях, причем пошлину собирать половинную против той, которая собирается в Рижском, Ревельском и Перновском портах, по той причине, что там этот торг давно уже заведен и привоз и отпуск хлеба не так затруднителен. Также позволен отпуск за море из всех портов не только соленого мяса, но и живой скотины. Из Архангельского порта дозволен свободный вывоз товаров, также и привоз в него с равною против Петербургского и других портов пошлиною; некоторые товары, которые сделаны беспошлинными натянутым истолкованием прежних указов, обложены пошлиною, например сахарный Песок и хлопчатая бумага. Выгоды от этих мер были еще впереди, а между тем в казне денег не было.

8 мая Сенат принужден был принять зловещее решение: начатием новой водяной коммуникации от Рыбной слободы до Волхова от рассмотрения удержаться по случаю ныне в деньгах крайней нужды. Государю было доложено: государственных доходов состоит 15350636 рублей 93 1/4 копейки; из них расходуется: 1) на войско – 10418747 рублей 70 3/4 коп.; 2) в комнату императора из соляных и таможенных доходов идет миллион сто пятьдесят тысяч рублей; 3) на содержание двора, придворные отпуски и на канцелярию строений – 603333 рубля 33 1/4 коп.; 4) малороссийскому гетману – 98147 рублей 85 коп.; 5) на окладные и чрезвычайные по Штатс-конторе отпуски и жалованные дачи вместе с долгом, считающимся на Штатс-конторе, – 4232432 рубля, итого – 16502660 рублей, следовательно, приходов в расход недостает на 1152023 рубля; а когда из винных, соляных и новоположенных с черносошных крестьян употребляемые теперь единовременно на удовлетворение заграничной армии 1400000 рублей отданы будут в Штатс-контору, тогда в ее расходах такого недостатка быть не может.

Сенат указывал, что дефицит происходит от содержания армии за границею, но избежать этого расхода не предполагалось, и потому прибегали к средству, которого так остерегались при Елисавете. На третий день после доклада государю о дефиците, 25 мая, объявлен

был Сенату именной указ об учреждении банка: «По восшествии нашем на престол первое наше попечение было о тех делах, кои по своей важности скорейшего требовали исправления и решения. Передел медных денег, их облегчение и умножение по составленному еще до того и Сенатом уже утвержденному проекту, казался одним из самонужнейших государственных дел и таковым нам от Сената представлен, почему и не умедлили мы тогда ж наше на то соизволение дать; но как тогда ж предусматривали мы, что сие по нужде сысканное средство хотя и делает некоторое облегчение, но не отвращает, однако ж, всех сопряженных с тем несходств, так искусство (опыт) и время утвердили нас и более в сей истине; сего ради и не переставали мы помышлять о изобретении легчайшего и надежнейшего средства хождение медных денег облегчить и в самой коммерции удобным и полезным сделать. Учреждение знатного государственного банка, в котором бы все и каждый по мере своего капитала и произволения за умеренные проценты пользоваться могли, и хождение банковых билетов представилось тотчас яко самое лучшее и многими в Европе примерами изведенное средство. Оставляя времени великую от банка всему государству пользу дать чувствовать и приохотить, чтоб партикулярными своими капиталами в оном участвовали, хотим теперь собственно от нас сие важное всей империи, а паче купечеству и коммерции показать благодеяние и для того повелеваем: наделять как наискорее банковых билетов на пять миллионов рублей на разные суммы, а именно на 10, 50, 100, 500 и 1000; По наделании вдруг сих пяти миллионов будут оные тотчас разделены по таким казенным местам, откуда наибольшая выдача денег бывает, с тем дабы оные употребляли их в расход как самые наличные деньги, ибо мы хотим и чрез сие повелеваем, чтоб сии билеты и в самом деле за наличную монету ходили. От сего ж времени собственным нашим капиталом государственный в пяти миллионах рублях состоящий банк учреждаем, который двумя равными, здесь и в Москве, конторами управляем быть имеет. Сим конторам вверяем мы теперь тотчас два миллиона рублей, один в серебряной, а другой в медной монете состоящие, а прочие три миллиона рублей вступят в оные чрез три года, а именно в каждый год по миллиону. Конторы и помянутый капитал к тому только назначаются, чтоб тем, кто с билетами у них явится и наличные вместо того деньги иметь похочет, тотчас наличными ж за прием билетов деньгами выдавали без всяких расписок и письменного производства, а еще более без всякого задержания и волокиты; или кто наличные деньги принесет, а вместо того на равную сумму билеты иметь похочет, то и таковых равномерно довольствовались». Директорами конторы в Петербурге назначались обер-директор Роговиков, петербургские купцы Бармин и Ямщиков, тульский купец Пастухов, калужский Губкин, английский купец Риттер; в Москве – тамошние купцы Земский, Журавлев, Ситников, тульский Лугинин, ярославский Иван Затрапезнов, иностранный купец Вольф. В конце указа о банке говорилось: «Передел медных денег в легчайшую монету из тяжелой по прежнему плану неотменно продолжать, но вновь из меди не делать и оной в казну не брать, а велеть, чтоб заводчики отпускали оной больше за море и продавали на ефимки». За день до конца царствования Сенат слушал именной указ: в розданных займы из Дворянского и Купеческого банков деньгах отсрочек больше не делать, но все неотложно собрать.

Деньги были нужны, потому что главных расходов – расходов на войско – уменьшить было нельзя, напротив, они должны были увеличиться вследствие усиленных военных приготовлений. 6 марта Сенат слушал именной указ: «С того времени, как регулярство и военная дисциплина действительно заведены в войсках наших, империя наша и большую гораздо знатность и новое расширение получила; но как почти все европейские государи, а особливо с некоторого времени, неутомленное прилагают старание войска свои сколько можно в лучшее состояние приводить, и в двух неоспоримых истинах признаться надобно: первое, что военное звание и ремесло во многом весьма переменились и гораздо большего достигли совершенства, и второе, что и долг нас обязует, и внутренне чувствуем мы превеликое, но справедливое удовольствие, прилагая всевозможные к тому труды и старания, чтоб, приводя империю нашу в

цветущее состояние, поставить и военную нашу силу сколько можно в лучшее еще и для приятелей почтительнейшее, а для неприятелей страшное состояние; то за потребно рассудили мы для достижения сего намерения учредить нарочную военную комиссию, а главную дирекцию оной на нас самих снимаем, членами же оной определяем его высочество голштинского принца Георгия, нашего любезного дядю, яко генерал-фельдмаршала, генерал-фельдмаршала князя Трубецкого, генерал-фельдмаршала принца Голштейн-Бекского, генерал-фельдцейхмейстера Вильбоа, генерал-прокурора и генерал-кригскомиссара Глебова, генерал-поручика Мельгунова и нашего генерал-адъютанта барона Унгерна». Еще прежде, 16 февраля, по именному указу учреждена была нарочная комиссия для приведения флота в надлежащее и с безопасностью и честью империи сходственное состояние. По приказанию императора, данному 1 марта, флот должно было вооружить весь. 11 мая император приказал остановить все публичные каменные работы и прочие сверх штатного положения раздачи на то время, пока доходы паки умножатся по причине великого числа доставляемой к армии суммы.

Кроме русского войска Петр вознамерился составить особое голштинское войско, и вербовщики отправились в Лифляндию и Эстляндию с наказом вербовать вольных людей, а не из подданных его импер. величества; отправились и в Малороссию для набора из волохов и поляков, но никак не из малороссиян.

Для чего же нужно было усиление войска и флота и столько издержек на содержание заграничной армии? Быть может, это было нужно, чтоб сделать последнее усилие для окончания войны с Пруссией, для получения себе и союзникам честного мира? Но мы уже видели, что Петр давно обнаруживал сильное уважение к Фридриху II и несочувствие к политической системе, господствовавшей при его тетке. Мы считаем себя вправе принимать с большею осторожностью разные известия о таинственных сношениях наследника русского престола с Фридрихом II; об этих сношениях заключали из собственных слов Петра; но мы знаем, как ребячески он мог увлекаться в своих рассказах, какие небывалые вещи мог себе приписывать. Следующие два рассказа княгини Дашковой, как нарочно один за другим помещенные, всего лучше могут установить взгляд на это дело. Однажды, говорит кн. Дашкова, Петр III ужинал у канцлера Воронцова; Дашкова находилась подле императора и слышала разговор его с графом Мерси, австрийским послом: Петр рассказывал, как отец его, герцог голштинский, поручил ему экспедицию против цыган и как он в минуту разбил их с своим отрядом. Вслед за тем кн. Дашкова рассказывает, как в другой раз на празднике во дворце, долго разговаривая о своем любимом предмете – о короле прусском, Петр вдруг обратился к Волкову с вопросом: «Не правда ли, сколько раз мы с тобою смеялись над секретными приказаниями, которые императрица Елисавета посылала к своему войску в Пруссию?» Волков был сильно смущен этим обращением, и кн. Дашкова в своем нерасположении к Петру и Волкову, считая рассказ о цыганах сказкою, принимает слова о сношениях с Фридрихом II за правду и обвиняет Волкова, что тот в угоду великому князю пересылал копии секретных рескриптов прусскому королю. Но мы, отдаленные с лишком на сто лет от описываемых лиц и событий, не можем успокоиваться на этих противоречиях и должны основываться только на доказательствах бесспорных.

Но если мы и не имеем права принимать на веру рассказы за обедом, подобные рассказам о разбитии цыган в Голштинии, тем не менее мы должны признать, что прусские привязанности Петра не уменьшились во время Семилетней войны, поддерживаясь особенно голштинскими офицерами, в кругу которых Петр всего более любил проводить время; некоторые из этих голштинцев сами служили в прусском войске, а все вообще по северогерманскому патриотизму благоговели пред своим национальным героем Фридрихом II. Штелин рассказывает, что, чем сильнее разгоралась Семилетняя война, тем сильнее становились выходки Петра против политической системы, которой следовала Россия: он говорил, что императрицу обманывают относительно короля прусского, что советники ее подкуплены Австриею и проведены Франциею. Читая в газетах известия о победах союзников, смеялся и говорил: «Это все

неправда, мои известия говорят иное». Из этих слов заключали, что Петр получал сведения из Пруссии; если он сам давал такой вид делу, что имел какие-то таинственные сношения, то рассказ о цыганах невольно приходит на память; но всего скорее в этих словах заключалась полная правда: Петр получал прусские газеты, верил только известиям, в них заключающимся, и потому называл эти известия своими в противоположность известиям, шедшим от враждебной ему стороны.

В этом отношении любопытно донесение саксонского советника посольства Прассе своему двору осенью 1758 года. Полковник Розен привез в Петербург известие о Цорндорфской битве. Слуга, приехавший с ним, начал рассказывать здесь и там, что битва проиграна русскими, за что был посажен на дворцовую гауптвахту. Узнавши об этом, великий князь велел привести его к себе и сказал: «Ты поступал как честный малый, расскажи мне все, хотя я хорошо и без того знаю, что русские никогда не могут побить пруссаков». Когда слуга Розена рассказал все, как умел или хотел, то Петр, указывая ему на голштинских офицеров, сказал: «Смотри! Это все пруссаки; разве такие люди могут быть побиты русскими?» Петр отпустил рассказчика, подаривши ему пять рублей и обнадежив своим покровительством.

После этого легко понять, что было в голове Петра относительно войны и перемены политической системы во время кончины Елисаветы. В самый день кончины императрицы канцлер Воронцов подал доклад, в котором между прочим спрашивалось: «Не изволит ли его импер. величество указать отправить одного из придворных кавалеров (к родственникам) к королю шведскому да гвардии офицера к владетельному принцу Ангальт-Цербстскому с объявлением о вступлении на престол? И каким образом отправить обвестительную к королю прусскому грамоту: чрез генерал-фельдмаршала графа Бутурлина, или чрез находящегося при австрийской армии графа Чернышева, или же по собственному сего государя примеру чрез обретающихся в Варшаве министров, российского и прусского?»

Исполнение по докладу не замедлило, только не чрез Бутурлина, не чрез Чернышева или русского министра в Варшаве: в тот же самый день, 25 декабря, любимец нового императора бригадир и камергер Андрей Гудович отправлен был к принцу Ангальт-Цербстскому с извещением о восшествии на престол Петра и вместе повез грамоту императора к Фридриху II. После извещения о кончине Елисаветы и о восшествии на престол Петра в грамоте говорилось: «Не хотели мы умедлить чрез сие ваше королевское величество уведомить, в совершенной надежде пребывая, что ваше величество по имевшейся с нашими императорскими предками дружбе в таком новом происшествии не токмо участие воспринять, но особливо в том, что до возобновления, распространения и постоянного утверждения между обоими дворами к взаимной их пользе доброго согласия и дружбы касается, с нами единого намерения и склонности быть изволите, даже мы по отличным к вашему величеству мнениям с своей стороны всегда особое старание о том прилагать и ваше величество о нашей истинной и ненарушимой к тому склонности вящше и вящше удостоверивать всякими случаями с удовольствием пользоваться будем».

Гудович нашел прусский двор и министра, заведовавшего иностранными делами, графа Финкенштейна в Магдебурге, но сам Фридрих II был в Бреславле. Первое известие о смерти Елисаветы получил он из Варшавы 19 января н. ст. Легко понять, какие мысли и надежды возбудило в нем это известие при таком отчаянном положении, в каком он тогда находился. Разумеется, он не мог надеяться на полноту счастья, какое готовилось для него в Петербурге; он не думал, что оттуда сделан будет первый шаг к начатию непосредственных сношений, и потому поручил английскому послу в Петербурге Кейту поздравить императора и императрицу от имени их «старого друга». 31 января получил Фридрих из Магдебурга известие о приезде Гудовича и о привезенном им письме Петра. «Благодарение небу, – написал король брату своему Генриху, – наш тыл свободен». «Голубица, принесшая масличную ветвь в ковчег» – Гудович был приглашен в Бреславль и принят с распростертыми объятиями.

28 января с. ст. Фридрих отвечал Петру: «Особенно я радуюсь тому, что ваше импер. величество получили ныне ту корону, которая вам давно принадлежала не столько по наследству, сколько по добродетелям и которой вы придадите новый блеск. Удовольствие мое о помянутом происшествии усугубляется тем, что ваше импер. величество благосклонно изволили меня обнадеежить о неперменной дружбе вашей и склонности к возобновлению и распространению полезного обоим дворам согласия. Я всегда ласкал себя надеждою, что ваше импер. величество не измените в склонности вашей ко мне и что я опять найду в вас прежнего и такого друга, к которому я с своей стороны имею неотменно самое истинное и особенное высокопочитание и преданность. Уверяю, что всего искреннее желаю соблюсти несказанно драгоценную мне дружбу вашу и, восстановив прежнее обоим дворам столь полезное доброе согласие, распространить его и утвердить на прочном основании, чему я с своей стороны всячески способствовать готов».

От слов спешили перейти к делу. Пленные с обеих сторон были освобождены. В самый день восшествия своего на престол Петр освободил двоих значительнейших прусских пленников, генерала Вернера и полковника графа Горта (родом шведа), которые явились при дворе и стали в число любимейших собеседников императора. 15 февраля Петр писал Фридриху: «Не умедлил я нимало потребные указы отправить, дабы пленные вашего величества, в моей державе находящиеся, немедленно освобождены и возвращены были, сколь скоро мне донесено, что ваше величество, освобождая моих пленных, ревнуете с вашей стороны тот узел утвердить, который уже с давнего времени нас обоих соединял и который вскоре наши народы соединить имеет. Согласно сим взаимным склонностям, не могу я далее здесь удерживать вашего генерал-поручика Вернера и вашего полковника графа Горта, хотя всегда с великим удовольствием видел бы я их при моем дворе. Я не могу без того обойтись, чтоб не отдать справедливость их поведению и ревности, которую они к службе вашего величества являть не преставали, так что первому из них не усумнился я доверить мои мнения, а потому и прошу ваше величество благосклонно его выслушать и веру тому подать, что он с моей стороны вам донесет. Но, ваше величество, крайне обяжете меня, когда соизволите к поданным уже мне дружбы вашей опытам присовокупить еще единый, дозволяя Вернеру в мою службу вступить и показуя Гарту отличную и единственную милость, которой он уповать смеет, пременив нынешнее состояние его полку в состояние напольного полка. Один здесь, а другой в армии вашего величества будут мне залогом вашей дружбы и свидетельством для всего света сентиментов почтения и преданности, с коими я есмь, господин мой брат, вашего величества добрый брат и друг Петр». Фридрих отвечал: «Вы просите генерала Вернера – располагайте им; но так как я теперь совершенно без генералов и на руках у меня сильная война, то не позволите ли ему остаться при мне еще одну кампанию? Впрочем, если вам угодно взять его и ранее, то он будет у ног ваших к назначенному вами времени».

Генерал князь Волконский, находившийся в Померании, уведомил императора от 28 января, что штетинский губернатор герцог Бевернский предлагает заключить генеральное перемирие. Петр немедленно приказал Волконскому исполнить желание герцога, и перемирие было заключено 5 марта: русские удержали свои квартиры в Померании и Неймарке; Одер до Варты составлял границу. Волков по этому случаю рассказывает следующее: «Князю Михаилу Никитичу Волконскому предложил принц Бевернский перемирие, а он без указа на то не поступал. За то тотчас пожалован он был в дураки и в злонамеренные. Но я, не устрасая его оправдания, сочинил ему в ответ такие кондиции перемирия, кои пред всем светом к чести нашего государства и оружия служат и коим не токмо дивились многие, что я смел положить толь строгие законы королю прусскому, но между другими, помню я, сказал мне князь Никита Юрьевич (Трубецкой), что он мне за то статую поставил бы. Но признаться надобно, что в то время еще не весьма трудно было служить отечеству и исполнять свою присягу. Тогда не было

еще здесь Гольца и Штебена и не возвратилось еще громкое наше посольство из Бреславля. Приезд сих людей скоро дал другую форму и делам, и моему состоянию».

Кто же были эти люди, приезд которых дал другую форму делам?

Посольство Гудовича Волков называет в насмешку громким, указывая на ничтожность посланника. Но люди ничтожные делаются сильными чрез подчинение страстям, слабостям сильных. Гудович был отправлен к Фридриху как человек, вполне разделявший симпатию своего государя; прием «голубицы» в Магдебурге и особенно в Бреславле был таков, что «голубица» по возвращении уже не знала меры своему усердию к прусскому королю, а усердие было выгодно, потому что очень нравилось: за верные и усердные службы Гудович получил шесть слобод в Стародубском и Черниговском полках. Гудович пробыл в Бреславле до 12 февраля; в это время прусский король уже получил известие, что Чернышеву велено отделиться от австрийского войска и идти к Висле, и потому в письме, которое повез Гудович, Фридрих писал Петру: «Я узнал, что корпус графа Чернышева получил приказание отделиться от австрийцев. Надобно быть совершенно бесчувственным, чтоб не сохранить вечной признательности к вашему величеству. Да угодно будет небу помочь мне найти случай доказать мою признательность на деле; ваше величество, можете быть уверенным, что чувство благодарности никогда во мне не изгладится».

С Гудовичем Фридриху нельзя было вести никаких переговоров, потому что он не имел никаких инструкций. Чтоб заключить мир, а если можно, и союз с Россией, надобно было отправить в Петербург своего посланника. Выбор пал на двадцатилетнего Гольца, адъютанта и камергера, которого король перед посылкою в Россию произвел в полковники. Гольц повез подарок Петру – прусский орден, причем Фридрих писал: «Льщу себя надеждою, что вы примете его (орден) в знак дружбы и искренних отношений, в которых желаю быть с вами. Вы обязывали меня еще до вступления вашего на престол и несчетное число раз обязали меня с того недавнего времени, как вы на престоле. Льщу себя надеждою, что представится случай и я на деле докажу всю благодарность. Поступая столь благородно, столь необыкновенно, как редко поступают в нашем веке, вы должны ожидать к себе удивления, которое столь справедливо вызвано деяниями вашего величества; первые же распоряжения вашего величества по восшествии на престол привлекли на вас благословение всех ваших подданных и самой благомыслящей части Европы. Да будет царствование ваше долго и счастливо!» Петр отвечал: «Ваше величество, конечно, смеетесь надо мной, когда хвалите так мое царствование, дивитесь ничтожностям, тогда как я должен удивляться деяниям вашего величества; добродетели и качества ваши необыкновенны, я вижу в вас одного из величайших героев мира».

Фридрих II, отправляя Гольца для заключения мира, дал ему следующую инструкцию: «Существенная цель вашей посылки состоит в прекращении этой войны и в совершенном отвлечении России от ее союзников. Доброе расположение русского императора позволяет надеяться, что условия не будут тяжки. Я вовсе не знаю видов императора в точности, все, что я об них знаю, вращается около двух главных пунктов, а именно что дела голштинские по крайней мере так же близки к сердцу императора, как и дела русские, и, во-вторых, что он принимает большое участие в моих интересах. Вы должны внушать голштинским фаворитам, или императрице, или, что еще лучше, самому императору, что я до сих пор отклонял все предложения союза со стороны Дании, так как император желал этого от меня при начале войны и так как я надеялся, что это будет ему приятно. Теперь рассмотрим, какие мирные предложения могут нам делать эти люди. 1) Они предложат отвести свои войска за Вислу, возвратит нам Померанию, но захотят удержать Пруссию или навсегда, или до заключения общего мира. На последнее вы соглашайтесь. Но 2) если они захотят оставить за собою Пруссию навсегда, то пусть они вознаградят меня с другой стороны. 3) Если они захотят очистить все мои владения под условием, чтоб я гарантировал им Голштинию, то подписывайте сейчас же, особенно если вы успеете выговорить у них гарантию Силезии. 4) Если император захо-

чет, чтоб я обязался сохранять нейтралитет во время войны его с Даниею, подписывайте, но требуйте величайшей тайны. 5) Вы можете сказать, что я сильно бы желал, чтоб император помог шведскому королю против преследующей его партии и чтоб русский посланник объявил Сенату о мирных намерениях своего государя: это объявление непременно понудит шведов к миру, и таким образом император сделается умиротворителем всего Севера и блестящим образом начнет свое царствование. 6) Старайтесь проникнуть в виды петербургского двора: хочет ли он окончить войну для устройства внутренних дел или для приготовления к датской войне, или хочет играть роль посредника между воюющими державами. 7) Вы должны пользоваться всяким случаем для внушения петербургскому двору недоверия к австрийцам и саксонцам, если недоверие может дойти до зависти, то тем лучше. Вы можете рассказывать, с каким лукавством австрийцы выставляли русские войска на опасность, чего сами вы были очевидцем в нынешнем году, можете указывать коварство австрийцев и недостойные средства, какие они позволяют себе в политике для достижения своих целей».

Фридрих сам рассказывает, в каком беспокойстве находился он относительно успеха Гольцева поручения в Петербурге. «На каком основании можно было предполагать, что переговоры в Петербурге примут благоприятный оборот? Дворы версальский и венский гарантировали Пруссию покойной императрице; русские спокойно владели ею; молодой государь, вступивший на престол, откажется ли сам собою от завоевания, которое ему обеспечено союзниками? Любостязание или слава, какую бросает на начало царствования всякое приобретение, не удержат ли его? Для кого, для чего, по какому побуждению он откажется от него? Все эти трудные для разрешения вопросы наполняли дух неизвестностью относительно будущего. Но, – продолжает Фридрих, – исход дела был более счастлив, чем как можно было ожидать. Так трудно угадать причины второстепенные и распознавать различные пружины, определяющие волю человеческую. Оказалось, что Петр III имел превосходное сердце и такие благородные и возвышенные чувства, каких обыкновенно не бывает у государей. Удовлетворяя всем желаниям короля, он пошел даже далее того, чего можно было ожидать».

Гольц приехал в Петербург 21 февраля и прежде всего обратился к английскому посланнику Кейту, который оставался верен политике прежнего Кабинета и отличался приверженностью к прусскому союзу. Кейт указал Гольцу влиятельных людей, которые расположены к Пруссии, и тех, которые против нее. Оказывалось, что последних гораздо более, чем первых, но собственный взгляд императора и расположение людей, самых близких к нему, ручались Кейту и Гольцу за успех; в пользу прусского дела служило и то, что послы австрийский, французский и испанский раздражили императора, отказавшись сделать визит самому любимому, самому близкому к нему человеку – принцу гоштинскому Георгию. Само собою разумеется, что Гольц поспешил к принцу Георгию с приветствием от своего короля, у которого принц находился до того времени в службе.

24 февраля Гольц представлялся императору. Едва только успел он выговорить поздравление с восшествием на престол и уверение в дружбе своего короля, как Петр осыпал его самыми горячими уверениями в дружбе и бесконечном уважении своем к Фридриху II, ясные доказательства чему он надеется представить, и потом сказал на ухо Гольцу, что у него много есть о чем с ним переговорить. После аудиенции Петр пошел к обеду, и Гольц последовал за ним в церковь. Во время службы император все говорил с ним то о Фридрихе II, то о прусской армии, подробными сведениями о которой изумлял Гольца; не было полка, в котором бы Петр не знал трех или четырех последних поколений шефов и главных офицеров. В тот же день вечером, во время карточной игры, Петр показал Гольцу на своем пальце перстень с портретом Фридриха II и велел также принести большой портрет прусского короля. После ужина Петр долго разговаривал с Гольцем о том, сколько он терпел в прошедшее царствование за привязанность к Фридриху, о том, как он радовался, что был удален из конференции, ибо причиною тому было уважение его к королю.

2 марта Петр сказал Гольцу, что ему было бы очень приятно, если б король прислал проект мирного договора. Донося об этом Фридриху, Гольц просил, чтоб проект был прислан как можно скорей, ибо противная партия, которая очень многочисленна, может воспользоваться медленностью с прусской стороны. Английский посланник при берлинском дворе Митчель дал знать Кейту в Петербург, что пруссаки перехватили депешу французского министра в Петербурге Бретейля, в которой говорится, что нечего бояться переворота в русской политике, что чрез несколько месяцев все пойдет по-старому, как было при Елисавете, потому что Волков душою и телом предан старой системе. Гольц писал по этому поводу к Фридриху, что заодно с Волковым Шувалов (Ив. Ив.) и Мельгунов и что перехваченное письмо поможет сломить Волкову шею. Волков в известном письме своем рассказывает, как и действительно старались сломить ему шею: «Штебен (капитан Штеубен, бывший вместе с Гольцем в Петербурге) явился на меня доносителем в тайных с графом Мерсием (австрийским послом) свиданиях, а король прусский из особливой ко мне атенции прислал перехваченное будто Бретелево письмо, в коем из всей силы превозносят мои таланты и усердие. Потому взят я был в допрос как злодей, но допрашиван так, что обвинители мои были от меня скрыты. Император сам меня не спрашивал, но токмо Лев Александрович (Нарышкин) и Алексей Петрович (Мельгунов) успокоивали меня обнадеживаниями, что когда мир совершится, то и опасность моя минется, давая мне чувствовать, что я не должен ничего упоминать против желаний короля прусского».

Фридрих, получивши от Гольца известие, что Петр предоставил ему составление проекта мирного договора, не медлил этим делом и для большего еще усиления своего влияния в Петербурге отправил туда с проектом графа Шверина, хорошо известного императору, потому что он был взят в плен русскими войсками и жил известное время в Петербурге. Шверин повез письмо. «Вам угодно, – писал Фридрих, – получить от меня проект заключения мира; посылаю его, потому что вашему импер. величеству это угодно, но уверяюсь другу, распоряжайтесь этим проектом как угодно, я все подпишу; ваши выгоды – мои, я не знаю других. Природа наделила меня чувствительным и благодарным сердцем, я искренне тронут всем, что для меня сделано вашим импер. величеством. Я никогда не в состоянии заплатить за все, чем вам обязан. Отныне все, чем могу я вас обязать, все, что вам нравится, все, что от меня зависит, – все будет сделано, чтоб убедить ваше импер. величество в моей готовности предупреждать все ваши желания. Посылаю графа Шверина, я должен был бы присылать к вашему импер. величеству лиц высших чинов, но если б вы знали положение, в котором нахожусь я теперь, то увидали бы, что мне невозможно посылать таких лиц: их нет, все в деле. В течение этой войны я потерял 120 генералов, 14 в плену у австрийцев, наше истощение ужасно. Я отчаялся бы в своем положении, но в величайшем из государей Европы нахожу еще верного друга: расчетам политики он предпочитает чувство чести».

29 марта император сказал Гольцу, чтоб он переговаривал о мире с тайным секретарем Дмитр. Васил. Волковым, потому что канцлер был болен. За несколько дней перед тем Гольц писал Фридриху, что он употребит все усилия для удовлетворительного окончания дела, отстраняя по возможности препятствия, которые противная сторона все более и более старается ему ставить. Для пояснения этих последних слов может служить рассказ Волкова: «Император велел Гольцу, чтоб присланный к нему от короля мирный проект он мне подал, и сам час к тому назначил, сказав мне, чтоб я его дожидался. Господин Гольц, зная, что я живу во дворце, поехал в Семеновский полк к Андр. Андр. Волкову и, не застав его дома, тотчас отпартовал, что меня нигде найти не мог. Тут мой арест и совершенное несчастье были решены, но чудесным образом весь тот день прокурил у меня табак барон Унгарн, и так он меня оправдал, а дело обратилось в шутку над Андреем Андреевичем. Я с моей стороны, ведая, что война с Даниею всегда была решенным делом и противное тому упоминание могло бы стоить жизни, устремлялся к тому: 1) чтоб сию войну самыми к ней приготовлениями сколько можно вдаль протягивать; 2) между тем и Пруссию, и Померанию за нами удерживать и оными пользоваться,

и притом 3) смотреть, не будет ли способа, хотя похлебствуя королю прусскому, вмешаться в примирение Европы и тем не так вечный свой стыд загладить, как паче обнадежиться, что по замирении Европы лучший наш друг и государь король прусский сам не допустит нас начать войну с Даниею. Сего ради, пользуясь претекстом датской войны, толковал я непрестанно, что, пока наша армия останется вне границ, нам никак невозможно возвратить его прусскому величеству завоеванные у него земли, и тем до того довел было, что велено мне обще с тайным советником Вольфом сделать контра-проект. Черное сочинение найдется всемерно в моих бумагах. Не совсем оно согласно с моим желанием, но, кто знал тогдашнее время, стремительное желание бывшего императора и мое состояние, тот удивится и едва ль поверит, чтоб я смел столь много стоять за интересы и славу отечества, а тому еще более, что когда я с черным пришел, а тут были принц Георгий и барон Гольц, то господин Вольф, обробев и солгав своему слову, отперся от того, что он со мною согласен, сказав мне в пагубную похвалу, что он не успел в окошко выглянуть, как у меня уже все готово было; я ж, напротив того, довольно имел не смелости, но верно истинного усердия вооружиться не токмо против принца Георгия и барона Гольца, но и против самого бывшего императора, так что наконец первые молчат, а он мое сочинение опробовать принуждены были. Такой негоциатор не по вкусу был барона Гольца, потому он, выпрося моего проекта копию, чтоб ее лучше высмотреть, сочинил новый проект по-своему».

Этот проект договора Гольц постарался прочесть императору одному, без свидетелей, и, получив согласие Петра на все статьи, отправил проект к канцлеру при записке: «Имею честь препроводить к его сиятельству г. канцлеру Воронцову проект мирного трактата, который я имел счастье вчера поутру читать его императорскому величеству и который удостоился его одобрения во всех частях». По этому договору, подписанному 24 апреля, прусскому королю возвращались все его земли, занятые русским войском в бывшую войну; оба государя соглашались включить в свой мир короля и Корону Шведскую. В отдельном параграфе говорилось, что оба государя, искренне желая соединиться еще теснее для безопасности своих владений и для взаимных выгод, согласились приступить немедленно к заключению союза.

После заключения мира начали составлять проект союзного договора, «сходного с нынешними конъюнктурами». Договор был оборонительный. Если сделано будет нападение на одну из договаривающихся сторон или и начатые неприятельские действия будут продолжаться, то другой союзник обязан отправить на помощь войско, состоящее из 12000 пехоты и 4000 конницы, и это войско не может быть отозвано прежде, пока обиженная сторона не получит совершенного вознаграждения или выплачивает ежегодно по 800000 рублей. Один союзник не может заключить ни мира, ни перемирия с неприятелем без ведома и согласия другого. В первом секретном артикуле говорилось, что его королевское величество прусское, будучи весьма доволен оказанными ему со стороны его импер. величества всероссийского как с начала восшествия его величества на всероссийский престол, так и при заключении вечного мира великими весьма снисхождениями и уступками, желает в знак своего за то признания действительно и всеми способами помогать, чтоб его величество всероссийское мог получить от короля датского герцогство Шлезвигское и удовлетворение во всех своих справедливых и законных притязаниях; поэтому королевское величество прусское обещает и торжественнейше обязуется употребить сперва при датском дворе, всевозможные представления и сильнейшие увещания, чтоб Дания удовольствовалась его императорское величество, а его импер. величество обещает всякую с своей стороны податливость показывать. Но если, несмотря ни на что, датский двор будет упорствовать и всероссийский император будет принужден доставать прародительские наследственные свои владения силою оружия, то королевское величество прусское не только не будет тому препятствовать, но и отдаст в распоряжение императора корпус своих войск, и если во время датской войны Россия подвергнется нападению, то король прусский обязуется послать ей на помощь выговоренное в трактате число войска независимо от

корпуса, отправленного для датской войны, или выплачивать означенную сумму денег, если нападут на Россию турки или татары.

Во втором секретном артикуле Фридрих II обязался помогать избранию голштинского герцога Георга-Людвига в герцогии курляндские, а бывшему герцогу Бирону возвратить владение Вартемберг с титулом княжества, амт Биген, имения Милич и Гаскич, так как Бирон отрекся за себя и потомков своих от всех прав на Курляндию. В третьем секретном артикуле союзники обязались не допускать никакой перемены в форме польского правления, и в случае кончины нынешнего короля польского Фридрих II обязался всеми силами содействовать, чтоб избрана была в польские короли особа, угодная императору всероссийскому.

В первом сепаратном артикуле было постановлено, что прусский король не помогает войском России в войне ее с Персиею, Турциею и татарами, а русский император не помогает Пруссии войском в войне ее с Франциею или Англиею, а помогают деньгами по миллиону двести тысяч рублей ежегодно. Во втором сепаратном артикуле говорилось: «Его импер. величество всероссийское и его королев, величество прусское, видя с великим соболезнованием тяжкое утеснение, в котором от многих лет находятся единовверные обеих сторон в Польше и Литве, между собою соединились и обязались помянутых своих единовверных, а именно: под именем диссидентов разумеющихся греческого исповедания и реформатской и лютерской религии обывателей Польши и Литвы наилучшим образом защищать и дружескими сильными представлениями у короля и республики Польской к тому приводить, чтоб помянутые диссиденты могли паки достигнуть отнятых у них прав в духовных и мирских делах; или если этого тотчас получить нельзя, то чтоб соблюдены быть могли в том состоянии, в каком теперь обретаются, до лучших времен и конъюнктур».

Полномочным послом в Пруссию был отправлен генерал-майор князь Николай Васильевич Репнин, который нашел Фридриха II в лагере в деревне Зейтендорфе, недалеко от Бреслава. 29 июня Репнин представился королю и поднес ему шарф и знак, присланные от Петра III; Репнин доложил, не соизволит ли король переменить чего-нибудь как в них, так и в мундире, но Фридрих II изъявил свое удовольствие и признательность за учтивость, приказал, чтоб все по-прежнему осталось. Потом Репнин доложил, что император требует нового доказательства дружбы и желает, чтоб король был посредником на Берлинском конгрессе между Россиею и Даниею и для этого отправил бы туда полномочного министра. Фридрих отвечал, что он уже предупредил желание императора и отправил в Берлин графа Финкенштейна, которому император должен прямо приказывать, а он, король, велел ему повиноваться во всем императору. Король спросил об отъезде императора в армию; Репнин отвечал, что верного ничего не знает, но что при отъезде его из Петербурга император имел это намерение.

Репнин обедал у короля 29 и 30 июня. Оба раза Фридрих пил здоровье Петра, говоря, что он «не может довольно часто пить столь дражайшее здоровье».

Фридриха не нужно было просить о том, чтоб он был посредником между Петром и датским королем; война России с Даниею ему очень не нравилась, во-первых, потому, что он должен был принять в ней участие, отделить для нее часть своего войска, а во-вторых, как увидим впоследствии, он боялся удаления Петра из России для датской войны. Мы видели, как Фридрих при первом известии о восшествии на престол Петра рассчитал, что отношения нового императора к Дании могут иметь самое полезное влияние на отношения России к Пруссии, но теперь, когда успех превзошел все ожидания, надобно было постараться, чтоб датской войны не было или чтоб началась она как можно позднее.

Известие о восшествии на престол Петра III имело в Дании необходимым следствием усиленное вооружение, о котором русский посланник в Копенгагене Корф и сообщил в Петербург. «Все внимание императора, – доносил Гольц Фридриху от 25 февраля, – обращено на Голштинию». «Я знаю наверное, что датчане меня атакуют», – сказал он Гольцу. Тот отвечал, что сомневается: не захочет Дания нажить себе такого страшного врага, как русский импера-

тор; она, конечно, предпочтет дружественную сделку, и, конечно, с достоинством великого русского монарха гораздо сообразнее стать умиротворителем Севера, чем отнимать силою оружия то, что датчане, по всем вероятностям, отдадут добровольно вследствие категорического требования, сделанного со стороны России. «Я подозреваю, – прибавил Гольц, – что известия о враждебных намерениях датского двора выдуманы неприязненными дворами для запутания дел из боязни перед готовящимся соглашением между Россией и Пруссией».

1 марта отправлен был Корфу рескрипт, в котором приказывалось объявить датскому министерству, что, чем искреннее желание императора продолжать и увеличивать постоянную дружбу и доброе соседство с датским королем, тем прискорбнее видеть противное с датской стороны, именно угрозы, вооружения, и потому император видит себя принужденным требовать формального объяснения, намерен ли его величество король жить с ним в согласии и удовлетворить справедливым его требованиям относительно герцогства Шлезвигского, ибо в противном случае как по нужде, так и для того, чтоб дать силу неоспоримым правам своим, император будет принужден принять такие меры, от которых могут последовать крайние бедствия; но теперь еще бедствия эти могут быть предупреждены. На это объявление Корф получил ответ, что король нимало не уклоняется формально объявить императору, что он с его величеством готов жить не только в мире, но и в согласии и дружбе. Почему если его величество российский император соизволит возобновить прежние трактаты и, назначая кого-нибудь из своих министров, примет или предложит местом конференций удобный для обеих сторон город, как, например, Гамбург или Любек, то и король сделает то же.

В конце марта Гольц снова внушал Петру, что гораздо соответственнее его величеству пожертвовать какими-нибудь ничтожными землями, какие он может завоевать у Дании, и приобрести славу умиротворения Севера. Датчане никогда не нападут первые, и все их движения происходят от страха подвергнуться нападению. 24 мая отправлен был к Корфу такой рескрипт: «Последний ответ датского двора и усиленные с того времени приготовления к войне на море и сухом пути могут не только для нас, но и для всего света служить неопровержимым доказательством, что Дания вовсе не имеет никакой склонности разделаться с нами полюбовно, но, почитая долгое и спокойное владение похищенными землями за право, видимым образом старается только выиграть время в надежде, что не всегда армия наша будет в близости к Дании и потому в состоянии доставить нам справедливое удовлетворение, а тем временем обстоятельства могут измениться в пользу Дании. Поэтому датский двор, не упоминая ничего в своем ответе о надлежащем нам удовлетворении, коротко указывает на медленные переговоры. Нам не оставалось бы другого решения, как, объявля известную и без того свету справедливость нашего дела, воспользоваться следующими обстоятельствами: 1) Что армия наша находится по большей части в Померании, следовательно, в близости от Голштинии и по благополучном ныне заключении мира с королем прусским ничто ей не препятствует оказать нам в Голштинии новые заслуги и возвратиться в отечество с новою славою. 2) Что не только можем мы выставить превосходные против датских силы, но надобно отдать справедливость нашим войскам, что они привыкли к трудам и победам, тогда как датские войска уже много лет не знали войны. 3) Дания имеет некоторые местные против нас выгоды, потому что армия ее всегда будет находиться внутри своих областей и близко от своих крепостей. Но и наша армия, кроме того что не имеет нужды шадить чужие области, имеет и другие выгоды: тыл ее будут окружать области или нейтральные, или очень нам дружеские; сверх того, король прусский по особенной к нам дружбе предоставил нам одну из наилучших своих крепостей, именно Штетин, как плясдарм, а если б нужда потребовала, то мы уверены, что не откажет нам и в Кистрине. 4) Быть может, Дания имеет на своей стороне много доброжелателей, ибо немного таких, которые желают нашего усиления на Балтийском море и в Германии; но затем нисколько не замечаем мы, чтоб датский двор имел прямых союзников, от которых мог бы ожидать существенной помощи. Мы имеем, напротив, короля прусского, государя, для этой

войны необходимого, совершенно в наших интересах; а Швеция если не в состоянии воспользоваться этим случаем против датчан, то тем менее может нам помешать, имея много побуждений желать нам успеха.

Несмотря на то, намерены мы испытать последний способ, нельзя ли избежать этих крайностей, и потому положили: 1) Принять конгресс, предложенный датским двором. 2) Место ему назначить в Берлине. 3) Срок собранию положить первое число июля. 4) Полномочным на конгресс назначаем вас и нашего конференц-советника Сальдерна. 5) Предложения наши на конгрессе должны служить ультиматом, и непринятие их разрушает весь конгресс. 6) Король прусский будет посредником. Впрочем, пока эти переговоры будут производиться, было бы для нас непростительно спокойно ожидать их окончания, тем более что не с большою надеждою ожидаем мы себе плода от них, а потом, приняв участие в войне между королем прусским и императрицею-королевою и желая участвовать в будущем мире, мы должны приготовить к походу наши войска, находящиеся в Померании».

Датский двор согласился на все, и в Пруссии были очень довольны. Гольц писал Фридриху: «Я почти уверен, что война не начнется нынешним годом. С какою бы поспешностью ни выслали с обеих сторон комиссаров в Берлин, все они приедут не ранее половины июля (по новому стилю); прежде чем будут сделаны первые предложения и начнутся серьезные переговоры, наступит август, а тут уже будет поздно выступать в поход». Возлагали большие надежды на второго уполномоченного, голштинца Сальдерна, человека, вполне преданного Пруссии. В одном из рескриптов Фридриха Гольцу король предписывает последнему сойтись с конференц-советником Сальдерном и объявить ему, что король существенными знаками докажет ему свою благодарность; Гольц должен был также удержать Сальдерна от возвращения в Голштинию, потому что он мог быть еще полезен Фридриху в Петербурге. По поводу назначения Сальдерна уполномоченным в Берлин Гольц писал королю, что он очень желал бы удержать Сальдерна в Петербурге, но что он будет очень полезен и в Берлине для улажения дела, если только есть возможность его уладить.

Фридрих II желал отклонить датскую войну, потому что она мешала ему добить Австрию, покинутую Россиею. Тотчас по восшествии Петра на престол, на представлении дипломатического корпуса новому императору, австрийский посол граф Мерси, игравший до сих пор первую роль в Петербурге, поздравив Петра, выразил уверенность, что новый император будет следовать славным принципам своей покойной тетки и поддержит прежние союзнические отношения к императрице-королеве и ее супругу, римскому императору. Петр отвечал коротко и сухо: «Надеюсь, что мы останемся друзьями с их величествами». Через три дня после этого канцлер Воронцов объявил, что император непременно хочет мира, для достижения которого употребит все свои старания. Петр не допускал к себе более Мерси, который вследствие этого потерял все свое прежнее значение: люди, которые прежде заискивали в нем, теперь заботливо избегали с ним встречи; из высших сановников никто не отваживался говорить с ним о делах. От 9 февраля был отправлен в Вену к князю Дмитрию Мих. Голицыну рескрипт такого содержания: «Сколь свято ни почитаем мы принятые для настоящей войны обязательства блаженной памяти государынею императрицею, нашею любезною теткою, и сколь ни желали бы оные во всей их силе содержать, но в настоящем состоянии дел по причине несносного в империи нашей истощения денежной казны и людей находим сии обязательства весьма тягостными; итак, для пользы и благосостояния наших верноподданных при счастливом начатии государственного нашего, желая видеть конец чрез толь долгое время продолжающемуся кровопролитию, не хотим умедлить объявить сие участвующим с нами в сей войне союзным дворам. Мы довольно предусматриваем, что такое наше, хотя и на самой справедливости основанное, намерение сперва, однако ж, покажется союзным дворам, а паче венскому, странным и потому, конечно, будут происходить всякие противные толкования, но, предпочитая всему на свете благосостояние государств наших, не можем мы инако поступать и для того довольствуемся

желать, чтоб и союзники сию правду в рассуждении собственных их земель равно признали, ибо по неизвестности военного жребия ничего точно предвидеть и предопределить не можно. Стараясь единственно о восстановлении толь нужного всей Европе мира и чтоб доказать еще, сколь бескорыстны наши в том виды, повелеваем мы вам ее величеству императрице-королеве пристойным образом дать знать, что со дня вступления нашего на престол отступаемся мы от субсидий венского двора; сверх того, можете вы по усмотрению обстоятельств твердить, что для способствования сему общепользному предмету не жалеем мы жертвовать и всеми в нынешнюю войну приобретениями, которые, однако, России столь много крови и иждивения стоили. Впрочем, надлежит вам венскому двору при всех попадающихся случаях внушать, что к поспешествованию мирной негоциации лучше всего начать оную перемирием».

Когда Голицын объявил содержание рескрипта графам Коллоредо и Кауницу, те отвечали, что венский двор вместе с союзниками своими давно уже доказал всему свету склонность свою к миру и Аугсбургский конгресс не состоялся единственно по нежеланию английского двора и союзников его; что венский двор не может отвечать на русскую декларацию без соглашения с союзниками, а между тем будут дожидаться от русского двора дополнительных изъяснений, каким образом император желает способствовать восстановлению тишины в Европе. Потом они спросили, правда ли, что корпус Чернышева отозван от австрийской армии и между русским и прусским войском заключено перемирие. Голицын отвечал, что не имеет об этом известий.

Надобно было дать дополнительные изъяснения, каким образом Петр хочет способствовать восстановлению тишины в Европе. Эти изъяснения заключались в рескрипте от 9 апреля. «Дождаться такого генерального мира, каков был Вестфальский, – говорилось в рескрипте, – значит воевать бесконечное время и притом быть уверенным, что постановляемый таким образом мир не может всех удовлетворить, следовательно, не может быть и прочным. На Вестфальском мире надобно было за каждым утвердить приобретенные уже владения, права и вольности, а теперь дело идет о том, чтоб удовлетворить претензиям и желаниям, родившимся из самой войны; но эти претензии так различны, что к совершенному их соглашению почти нет способов, и надобно признаться, что в начале нынешней войны прилагалось больше старания о том, чтоб вовлечь в нее как можно более держав, а не рассуждалось, каково будет окончание столь многих наскоро сделанных трактатов и принятых обязательств. Русский двор один только всегда настаивал на том, чтоб согласить различные интересы и желания, прежде чем генеральный конгресс начнется, справедливо предусматривая, что без такого соглашения конгресс скоро может поссорить самих союзников между собою и вместо мира разжечь войну еще больше. Венский двор и Франция чувствовали, кажется, то и другое, а именно что и различные претензии согласить трудно, и от собираемого конгресса мало плода ожидать должно. Потому, не отвечая никогда прямо на здешние требования и домогательства, венский двор коротко ссылаясь на постановленные в пользу его договоры и, оставляя притязания других в молчании, всего успеха ожидал, по-видимому, от могущего быть счастья в оружии, а Франция, отклоняя и более притязания других, так хлопотала об отдельном и *самокорыстливом* мире, что венский двор о том только и думал, чтоб не было чего-нибудь постановлено прямо против него; и действительно, венский двор обязан освобождением от этой опасности только великим запросам с английской стороны. С другой стороны, Швеция, без всякой пользы и надежды с большим ущербом прежней славы нынешнею войною истощенная, кажется, будто не смеет ни продолжать, ни окончить ее. А Дания, напротив того, начав делать превеликие вооружения в такое время, когда мы сами не удалены от переговоров, явно тем показывает, какого мы должны ожидать удовлетворения в справедливых наших притязаниях. При этом ничего не было бы желательнее для датского двора, как если бы мы продолжали истощать силы наши и государственные иждивения на постороннюю войну. Мы навлекли бы на себя упреки целого света, когда бы, защищаясь столько лет единственно правотою своего дела и не про-

меняв ни на какие предложения того, чем мы должны нашему достоинству и нашему дому, теперь, когда мы вдвойне обязаны заботиться о благосостоянии и знатности нашего дома и когда имеем дарованные нам от Бога к тому способы, не последовали датскому примеру и не приложили старания подкрепить наши неоспоримые права с такою же готовностью, с какою датский двор думает, по-видимому, утвердить за собою свои приобретения, хотя и намерены мы испытать все пути и средства к полюбовному соглашению по голштинским делам прежде, нежели решимся на какую-либо крайность.

Все участвующие в нынешней войне дворы, кажется, только выжидают, кто сделает первый и самый важный шаг к достижению мира; страждущие народы ищут того, кого они должны благодарить за свое избавление и благополучие, а мы благоволением Божиим одни теперь в таком состоянии, что единственно из любви к миру, из сожаления о страждущем человечестве и из личного уважения к дружбе и оказываемым нам угодностям от его величества короля прусского можем услужить роду человеческому своим бескорыстием: нам, следовательно, и надобно сделать этот первый шаг. Поэтому повелеваем вам все вышеизображенное представить тамошнему двору и прибавить от нашего имени совет последовать нашему примеру и предупредить все следствия, могущие произойти от продолжения войны, а чрез это доставить нам способ безмятежно соблюдать и распространять давнюю дружбу между обоими императорскими дворами».

На это сообщение Голицына Кауниц отвечал, что венский двор считал и себя не менее других полезным союзником России, а имперский вице-канцлер Коллоредо сказал, что его двор и сам очень рад миру, но нельзя его заключить по упорству неприятелей, которые не дали состояться Аугсбургскому конгрессу. 2 мая пошел к Голицыну другой рескрипт: «Доставя ныне империи нашей вожделенный мир, могли бы мы удалиться вовсе от войны, но известно, что покой государства не может быть прочен, когда окрестные народы находятся во вражде, и потому находим мы, что по вкоренившейся ненависти австрийского дома к королю прусскому, с которым издавна соединяет нас взаимная дружба, и по корыстным этого двора намерениям получить во что бы то ни стало Силезию и графство Гляцкое вся причина продолжения войны происходит от австрийского дома, и по упорству его в своих проектах нет никакой вероятности, чтобы императрица-королева, пока силы ее будут так знатны и велики, согласилась добровольно на восстановление мира; почему, предвидя, что употребление с нашей стороны добрых услуг не только не принесло бы никакой пользы, но и отвержение их послужило бы к предосуждению нашего достоинства, – соображая все эти обстоятельства, к сожалению нашему, удостоверяемся, что мы должны употребить последнее средство для возвращения человечеству драгоценного покоя, именно помочь его величеству королю прусскому нашим войском, ибо причину продолжения военных бедствий должно приписывать одному только упорству венского двора и известному намерению его отнять у короля прусского то, что ему уступлено торжественнейшими трактатами».

На это сообщение Кауниц отвечал: «Ее величество императрица-королева в декларации русского посланника видит следствие сильного желания со стороны его величества императора всероссийского восстановить мир между нею и королем прусским. Ее величество льстит себя надеждою, что декларация действительно продиктована этим чувством, и потому только решилась отвечать дружелюбно. Ее величество, которая никогда не обнаруживала удаления от справедливого и разумного мира с королем прусским, не знает до сего дня самого главного, именно: расположен ли к миру этот государь? Об этом-то прежде всего и нужно уведомить императрицу. Предполагая согласие на мир короля прусского, я имею приказание императрицы объявить, что она искренне расположена к миру с ним и для ускорения этого дела готова заключить перемирие и начать переговоры».

В Петербурге граф Мерси на конференции с канцлером дал пространное объяснение этого ответа. «Австрийский дом, – говорил он, – находясь так давно в дружбе с Россиею,

привык почитать эту державу своею постоянною и естественною приятельницею, и потому, невзирая на недавно случившееся, в Вене не могут еще себе вообразить, что петербургский двор переменит самый существенный пункт своей политической системы именно нарушением союза с австрийскою монархией. Хотя известно все то, что настоящее поведение императора всероссийского заключает в себе досадительного для древних его союзников, однако римско-императорские величества утешают себя надеждою, что такой поступок только временный и что наконец император взглянет на дело другим, более сходным с его интересами взглядом, тогда убедится он, как необходимо ему предпочитать австрийский союз всякому другому. Вот что побудило императрицу-королеву дать такой умеренный ответ. Было бы несправедливое и неслыханное дело, если б император всероссийский, думая, что к исполнению его желания находятся затруднения, стал бы их приписывать такой державе, которая с самого начала более всех оказывала склонность к примирению, и к примирению с такою державою, которая еще не заблагорассудила о том изъясниться. Если император всероссийский примет способы, сходные с правосудием, чистосердечием и с уважением, должными той державе, которая издавна была ему искреннею союзницею, если склонит он короля прусского к изъяснению его намерений и видов, если, наконец, употребит средства беспристрастные, то может быть уверен, что скоро достигнет своей цели, и достигнет ее честным образом, достойным государя, на которого теперь вся Европа обратила свои взоры в ожидании, какое мнение она должна принять о его правилах и намерениях».

Но эти объяснения не вели ни к чему. Фридрих спешил пользоваться обстоятельствами и потребовал у Петра гарантии не только Силезии и Глаца, но и всех тех земель, которые он завоюет у Марии-Терезии до заключения мира. Петр отвечал: «Я в восторге и готов на все; но я буду просить ваше величество заключить такое же условие со мной: обеспечить за мной то, что я буду в состоянии взять у датчан, чтоб разом заключить с ними мир, славный для моего голштинского дома». Фридрих писал ему: «Я не удовольствуюсь только гарантией за вами всего того, что вы найдете нужным, независимо от этого я добиваюсь чести способствовать предприятиям в. и. в. Распоряжайтесь Штетинским портом и всем, что я имею, как вашей собственностью. Скажите, сколько нужно вам прусских войск, нисколько не стесняйтесь и просто скажите, чем могу я быть вам полезен? Хотя я стар и изломан, но сам пошел бы против ваших врагов, если б знал, что принесу пользу, жертвуя собою для столь достойного государя, для такого великодушного и редкого друга. Вы великодушно предлагаете мне вашу гарантию и ваши войска; будьте уверены, я вполне чувствую всю цену столь благородного поступка. Если вам угодно дать мне из своих войск тысяч 14 с тысячею козаков, то этого будет достаточно». Петр отвечал: «Союзный договор будет готов чрез несколько дней, и, чтоб задержка его не могла помешать вашему величеству против ваших врагов, *которые также и мои*, я приказал генералу Чернышеву сделать все возможное, чтоб прибыть по крайней мере в начале июня в вашу армию с 15000 регулярного войска и тысячею козаков. Ему приказано состоять в распоряжении в. в., Чернышев лучший генерал после Румянцева, которого я не могу отозвать: он против датчан. Но если бы Чернышев и ничего не смыслил, то он не может худо действовать под командою такого великого генерала, как в. в.». Таким образом, в Берлине собирался конгресс с целью если не отвратить датскую войну, то по крайней мере оттянуть ее до будущей весны и не иметь надобности посылать прусского войска на помощь Петру; а между тем 16000 русского войска уже соединились с прусским для нанесения решительных ударов Австрии!

Австрия употребила последнее средство – предложила деньги и вспомогательное войско против Дании. Император отвечал: «Деньги мне не нужны, я надеюсь один управиться с своими врагами, а понадобится помощь, стану искать ее в другом месте, только не в Вене».

Австрия, находившаяся в крайне затруднительном положении, считала необходимым умерять тон своих протестов против перемены русской политики, но Франция не считала этого необходимым.

Когда Чернышев подал герцогу Шуазелю декларацию о заключении мира между Россией и Пруссией, тот, с трудом скрывая свое раздражение, отвечал: «Не могу скрыть, что эта декларация крайне нас удивляет: как без всякого предварительного сношения с союзниками система, казавшаяся так твердо установленною, вдруг и до основания разрушена! Иначе поступил третьего и прошлого года король, мой государь, хотя также сильно чувствовал надобность дать мир своим подданным, во всех случаях он предпочитал интерес союзников своему собственному. Вы должны отдать нашему двору полную справедливость, потому что через вас шли тогда переговоры». «Тогда были одни обстоятельства, а теперь другие», – отвечал Чернышев и распространился о том, как поступок Петра доказывает попечение его о благе своего народа и вообще его человеколюбие. «Однако, – возразил Шуазель, – исполнение принятых обязательств надобно предпочитать всему другому». «Наш разговор, – заметил Чернышев, – начинает касаться прав, но таким образом мы можем далеко зайти и все же друг с другом не согласимся». Этим разговор о русской декларации и кончился.

«Здесь двор обстоятельства теперь очень критические, – доносил Чернышев. – Сухопутное войско в дурном состоянии, и мало надежды на его успехи в будущую кампанию, а флот еще хуже. Англичане хватают множество французских судов, другие не смеют отходить от берега, вследствие чего торговля страдает. В казне сильный недостаток, народ обеднел, и с крайнею нуждою взыскивают с него деньги, налагая налог на налог».

Ответная декларация французского короля была написана в самых сильных выражениях: «Его величество готов согласиться на предложения прочного и честного мира, но он всегда будет поступать в этом деле с совершенного согласия своих союзников и будет принимать только такие советы, которые будут продиктованы честью и честностью (*par l'honneur et par la probité*); король счел бы себя виновным в измене, если бы принял участие в тайных переговорах; король помрачил бы свою и своего государства славу, если бы покинул своих союзников; король уверен, что каждый из них с своей стороны останется верен тем же принципам. Король не может забыть главного закона, предписанного государям от Бога, – верности договорам и точности в исполнении обязательств». Людовик XV перестал говорить с Чернышевым на выходах.

А в Петербурге между тем занимались важным делом: от иностранных министров требовали, чтоб они сделали первый визит принцу Георгию голштинскому. Бретейль, Мерси и министр испанский маркиз Алмодовара отвечали, что сделают первый визит, если принц первый объявит им о своем приезде. Принц не согласился, и канцлер, пригласив их к себе, именем императора объявил, что они не будут допущены на аудиенцию к императору, пока не согласятся с принцем Георгием насчет визитов. Граф Шуазель говорил Чернышеву: как странно и удивительно в Петербурге смешивают два разные дела: одно совершенно частное и никакой важности в себе не заключающее, – согласятся ли известные лица между собою насчет визитов или нет; такие случаи при всех дворах часто бывают; и ему самому, Шуазелю, случилось в Вене столкнуться насчет визитов с принцем Карлом лотарингским, братом императорским, не согласившись, и до сих пор визиты с обеих сторон не делаются. Однако венский двор считал это дело посторонним для себя, а при русском дворе приняло оно такое неожиданное и необыкновенное значение. Другое же дело, касающееся аудиенции, государственное: необходимо, чтобы министры допускались к государям, при которых они аккредитованы, ибо без этого они не могут исполнять свою должность и пребывание их при дворах было бы совершенно лишнее. «Прошу вас, – окончил Шуазель, – донести об этом ко двору его импер. величества, представить о различии, какое находит в этом деле здешний двор, и о необходимости допустить нашего министра на аудиенцию без дальнейшего отлагательства; странное смешение двух различных дел может объясниться разве тем, что нарочно ищут предлогов к разрыву». На донесении об этом Чернышева Воронцов написал для императора: «Вчера барон Бретель, будучи у меня, равномерные представления чинил, на что ему вопреки довольные резоны сказаны были, и сей

неприятный разговор с горячностью с обеих сторон продолжался около часа с заключением тем, что о представлении его вашему импер. величеству мною донесено будет, но что я не надеюсь, чтоб ваше величество отменили объявленное ему свое намерение, как бы, впрочем, охотны ни были королю французскому оказать знаки своей дружбы. Наконец, г. Бретель просил только о сообщении ему последней резолюции вашего величества, отозвался притом, что, ежели бы она не полезна для него последовала, он с первым курьером просить станет своего рапеля».

После описанного разговора Чернышев сообщил Шуазелю, что министры – шведский, датский и английский – имели уже аудиенции у императора, потому что не сделали никакого затруднения относительно первого визита принцу Георгию; но аудиенция барона Бретейля отложена, потому что он не хочет следовать примеру других министров. Император надеется от дружбы французского двора, что он уступит его требованию, впрочем, медленность в допущении Бретейля на аудиенцию не может быть вовсе причиною холодности между двумя дворами, а уступчивость французского двора в деле визита император признает за новый знак дружбы, которую он с своей стороны имеет неотменное намерение соблюдать и еще более утверждать. «Последние два пункта, – писал Чернышев, – принял он, граф Шуазель, пристойным образом и с оказанием удовольствия, что я, приметив, нарочно повторил ему то же самое в таком точно рассуждении, что здешний двор, взяв в надлежащее уважение столь знатный для него пункт, легче склонится на решение дела, касающегося до визита его высочеству принцу Георгию, происшедшего единственно от грубого, упрямого и малорассудительного Бретелева нрава, и загладит тем нескладный его в том поступок».

Но французский двор не склонился к уступке в деле визита. От 27 мая Чернышев писал: «Здешний двор сам довольно видит неблагоразумие свое в этом деле, но, зайдя так далеко, из гордости и упрямства своего отступить стыдится; итак, определено: Бретейля из Петербурга отозвать и назначить его послом к шведскому двору». Шуазель объявил Чернышеву, что в Петербург назначен будет поверенный в делах или резидент – одним словом, министр третьего класса, который бы не был подвержен никакому церемониалу, вследствие чего Чернышев объявил, что отъезжает из Франции, оставляя в ней поверенным в делах секретаря посольства Хотинского.

В Петербурге думали, что перемена политики, тесное сближение с Пруссией и удаление от Австрии и Франции сблизят Россию с Англиею. С первых минут воцарения своего Петр обратился с полным доверием к английскому посланнику Кейту как человеку, который должен был более всех других сочувствовать его новой политике. Гольц по приезде в Петербург также обратился к Кейту за советами и указаниями, и Кейт оказал ему самые дружественные услуги. Но Кейт в Петербурге и Митчель в Берлине держались старой английской политики – политики Питта; а мы уже видели, что новое английское министерство Бюта смотрело иначе на дело и не желало тратиться, поддерживая прусского короля в войне, теперь совершенно бесполезной для Англии. Но как Петр не справился о взглядах нового английского министерства, взглядах, которые так сильно поддерживал русский посланник в Лондоне, так точно Бют не знал, что с новым императором рушатся все прежние политические отношения.

По получении известия о восшествии на престол Петра граф Бют выразился кн. Голицыну, что теперь единственно состоит в воле императора дать мир Европе. «У нас, – говорил Бют, – довольно чувствуют, что прусский король при настоящих своих бедственных обстоятельствах не может ласкать себя надеждою получить мир без значительных уступок из своих владений; почти уже шесть недель тому назад как я по указу королевскому поручил нашему министру при берлинском дворе Митчелю объявить прусскому министерству, что давно уже пришло время серьезно о том подумать и что здешний двор не может вечно воевать в угоду его прусского величества. По словам здешних прусских министров, король их надеется найти теперь больше к себе расположения при русском дворе, но, конечно, надежда эта химерическая; прусским министрам естественно, как утопающим, хвататься за все и ласкать себя малей-

шею надеждою, но я не могу думать, чтоб император променял своих естественных союзников на короля прусского. Здешний двор, стараясь о мире, не может притом сильно желать, чтоб русские войска, действовавшие против Пруссии, были возвращены, как, быть может, прусский король надеется, ибо чрез это вместо мира надобно ожидать продолжения войны: с одною императрицею-королевою король прусский может долго воевать, чего здешний двор не желает, а напротив, старается, избавя короля прусского от конечной гибели, склонить его пожертвовать Марии-Терезии своими областями, как требует справедливость. Прошу вас эти мои речи содержать в глубочайшей тайне, ибо я с вами говорил не как министр королевский, но как приятель, вполне на вас полагающийся. Откровенность за откровенность, желал бы я от вас узнать, какую часть из прусских завоеваний государь ваш хочет за собою удержать».

«До сих пор, – отвечал Голицын, – я не имею еще известия о намерениях государя, только из манифеста его могу заключить, что он хочет во всем подражать своим предкам, следовательно, хочет пребывать неразлучно с своими естественными союзниками, именно с венским двором; потом также по примеру предков сохранять и утверждать дружбу с его британским величеством. Мира мой государь искренне желает, но мира честного, и, как вы, граф, справедливо заметили, прусский король не иначе может получить мир, как жертвуя значительною частью своих областей, и невозможно ему ласкать себя надеждою, чтоб император в предосуждение славы высочайшего своего имени и пользы своей империи променял интересы своих главных и полезных союзников на интерес такого опасного соседа, как король прусский, чтоб вывел свои войска из прусских областей и возвратил их Фридриху II, который сам почитает их невозвратно потерянными; такой поступок не был бы согласен ни с славою, ни с честью, ни с безопасностью императора, который намерен начало своего царствования прославить присоединением к империи всего королевства Прусского по праву завоевания, тем более что эта провинция никакой связи с Германскою империею не имеет; что же принадлежит до других завоеваний, то они могут быть уступлены за какие-нибудь не столь тягостные для короля прусского вознаграждения».

Описав этот разговор, Голицын прибавлял: «Граф Бют, казалось, был очень доволен моими ответами. Я должен донести, что здесь теперь крайне скучают союзом с королем прусским и с радостью воспользовались бы первым удобным случаем оставить его; следовательно, теперь в воле вашего величества не только исходатайствовать высоким союзникам справедливое удовлетворение, но и Пруссию (провинцию) удержать в вечном владении: английский двор охотно на это согласится». Канцлер Воронцов написал на реляции: «Сия реляция князя Голицына заслуживает великой похвалы и апробации, на которую в ответ гисторически ему отписать о нынешнем состоянии дел и о высочайшем соизволении его импер. величества в рассуждении прежней системы и что с королем прусским, кроме дружеской обсылки, еще никакой негоциации здесь не начато, хотя поверенная персона от его величества сюда и прислана». Реляция Голицына была от 26 января, император читал ее 2 марта.

Голицын еще при Елисавете получил указ, что отзывается из Лондона на вице-канцлерское место. На место его был назначен известный Гросс, но король Георг III велел объявить Голицыну, что он по разным причинам не может принять Гросса; тогда назначен был полномочным министром граф Александр Романович Воронцов.

Перед отъездом Голицына граф Бют сообщил ему полученные известия из Магдебурга, где находился тогда Фридрих II, о посылке Гольца в Петербург. Бют выражал сильное неудовольствие, что Фридрих не сообщил лондонскому двору инструкций, данных Гольцу. «Это значит, – говорил Бют, – что инструкции не могут быть нам приятны; здесь догадываются, что, во-первых, прусский король будет всячески стараться поднять Российскую империю против венского двора, к немалому предосуждению европейской вольности; во-вторых, для получения себе выгоднейших от русского императора условий что-либо заключить с русским двором против датского короля».

Бют давал знать Голицыну, чтоб разговор их оставался в величайшей тайне, но Петр иначе распорядился реляциею Голицына: он показал ее Гольцу и не только позволил снять копию, но и прямо приказал переслать эту копию Фридриху. Получивши ее, Фридрих писал Петру: «Я был бы самый неблагодарный и недостойный из людей, если б не чувствовал и вечно не благодарил бы вас за великодушные поступки. Ваше импер. величество открываете измену моих союзников, помогаете мне в то время, когда весь свет меня покинул, и я единственно вашей особе обязан тем, что случается со мною счастливого». Фридрих велел Финкенштейну показать голицынскую депешу английскому посланнику в Берлине Митчелю, и когда последний уведомил об этом свое правительство, то Бют отвечал, что русский посланник или не понял его, или память ему изменила, или Голицын слишком увлекся своею преданностью австрийскому дому, но что он, Бют, ничего подобного ему не говорил.

Новый русский министр, назначенный в Англию, граф Александр Воронцов получил от императора такую инструкцию: «1) Надлежит всеми мерами стараться, чтоб привести короля английского в такие же добрые намерения касательно короля прусского, в каковых он прежде сего находился. 2) Надлежит изыскивать случай, чтоб открыть королю, а наипаче английскому народу, обманы фаворита его графа Бюта касательно короля прусского, представляя им последующий из того для всей нации неописанный стыд, и особливо в том, если Англия вознамерится, оставляя короля прусского, заключить с королевою венгерскою особенный мир. 3) Стараться всевозможным образом о истреблении остальной королевской дружбы с Даниею и притом домогаться, чтоб совершенно разрушить их союз. 4) Всеми ж силами стараться, чтоб Англию вовлечь в заключенный между королем прусским и мною союз, давая, с одной стороны, разуметь, сколь великую пользу касательно торговли получить они могут, а с другой – доказывая происходимое в противном случае бедствие. 5) А особливо приметить им надлежит, что если Россия следующие товары отнимет у Англии, а именно: пеньку, мачтовые деревья, медь, железо и конопляное масло, без которых англичане не могут обойтись, то будут они приведены в конечное разорение. 6) Наблюдать доброе согласие с министром короля прусского столь прилежно, что если услышите вы или от английского министерства получите какие-либо его величеству предосудительные пьесы, то долженствуете его министру немедленно оные сообщить, дабы мог он о том к своему двору доносить».

Мы видели, что при первых сношениях России с Пруссиею в новое царствование, сношениях, от которых находились в зависимости все политические дела, уже был вопрос о Швеции.

Остерман из Стокгольма писал новому императору, что большая часть шведских предприятий много зависит от узнания его воли. «Вся здешняя публика, – доносил Остерман, – почитает неизбежною войну между Россиею и Даниею и толкует о желании вашего величества заключить тройной союз между Россиею, Пруссиею и Швециею». После толков Остерман сообщил сделанное ему министром иностранных дел Экеблаттом заявление, что Швеция, будучи истощена войною, должна помышлять о честном соглашении с королем прусским.

Император был очень рад этому соглашению, которое действительно и последовало; но он не обратил внимания на побуждение к соглашению, выставленное Экеблаттом, – именно истощение Швеции – и потребовал, чтоб Швеция приняла участие в войне его с Даниею.

4 июля Остерман имел разговор с Экеблаттом. Выслушавши предложение Остермана относительно совокупного действия России и Швеции против Дании, шведский министр отвечал, что доложит об этом королю, но потом объявил собственное мнение не формальным и не министерским образом: он начал речь с объявления крепкой надежды короля, что император как по родству, так и по доброжелательству к Швеции будет смотреть снисходительным оком на настоящее положение шведского двора. Те же самые причины, которые побудили этот двор к заключению мира с Пруссиею, побуждают его не желать новой войны, и потому королю очень приятно будет слушать о полюбовном соглашении России с Даниею; и как, с одной стороны, уважение к императору, так, с другой – уважение к прежде принятым Швециею обяза-

тельствам по гарантии (Шлезвига Дании) заставляют искать такого средства, которое никого не могло бы раздражить. «Обнадеживаю вас, – закончил Экеблатт, – что здешний двор не склонится ни на какие лестные предложения датского двора, противные интересу императора». «Когда действительно ваше желание, – возразил Остерман, – состоит в том, чтоб видеть полюбовное соглашение по нашему делу с Даниею, то мне кажется, что пристойное внушение от вашего двора датскому и, в случае если внушение не подействует, подкрепление претензий императора на самом деле, равно как вспоможение русскому флоту в шведских гаванях и русскому войску в Померании, послужит лучшим средством к достижению вашей цели». Экеблатт отвечал, что по такому деликатному делу он не может дать никакого формального ответа.

Но из его слов уже легко было догадаться, в каком смысле будет королевский ответ, который был передан Остерману 18 июня: «Король не может оказать императору большой доверенности, как повторить с прежнею откровенностью об изнурительном состоянии своего государства, не позволяющем принимать никаких мер, которые бы могли дать малейший повод к разрыву дружбы с какою-либо державою. В таком рассуждении королю очень приятно было слышать достохвальную миролюбивую склонность императора к добровольному соглашению с датским двором, и сердечно он будет желать, чтоб это дело совершилось, чему он с своей стороны готов содействовать сколько возможно. Что же касается желаемого императором вспоможения русским войскам в Померании за справедливую уплату и входа русских кораблей в шведские гавани, то король не преминет сделать все то, что обыкновенно называется *officia humanitatis* (обязанности человечества), если какой-нибудь из русских кораблей порознь принужден будет зайти в шведскую гавань для получения необходимой помощи; также и войску русскому за справедливую уплату показано будет всевозможное удовольствие». Когда Экеблатт передал королевский ответ Остерману, тот спросил: «Можно надеяться, что *officia humanitatis* не будут распространяться на Данию?» «Трудно будет, – отвечал Экеблатт, – отказать в них датскому двору».

Остерман был отозван, и на его место назначили действительного тайного советника графа Миниха.

Также отозван был и Воейков из Варшавы с назначением к армии по собственному его всегдашнему желанию, как видно из письма его к Воронцову; на место Воейкова был назначен бывший уже в Польше и потом в Вене граф Кейзерлинг.

Король польский и курфюрст саксонский как слабейший должен был более всех других союзников сокрушаться переменою русской политики. По всей Польше распространились тревожные слухи, что страшная опасность будет грозить этой стране, если Пруссия соединится с Россией, ибо нет сомнения, что между этими обеими державами произойдет соглашение насчет Польши: она непременно потеряет несколько областей, которые пойдут на вознаграждение России за возвращение Пруссии Фридриху II. Граф Брюль начал хлопотать о примирении Чарторыйских со двором в надежде, что племянник Чарторыйских стольник литовский Понятовский может действовать в пользу польского двора чрез новую императрицу по ее благосклонности к нему в прежнее время в Петербурге. Надежда эта очень скоро рушилась; но люди без надежды не живут, и в марте в Варшаве стали надеяться, что политика Петра, особенно отобрание церковных имений, произведет беспокойства в России.

Надеждою этою питались до тех пор, пока она осуществилась, а между тем переживали тяжелое время. Между Россией и Пруссией беспримерный в истории тесный союз. От Фридриха II ждать добра нечего, а Петр III по привязанности своей к Фридриху давно уже враждебно относился к саксонскому дому, и вражда эта усилилась, когда императрица Елисавета согласилась на возведение в курляндские герцоги сына Августа III принца Карла саксонского, тогда как Петр прочил на это место дядю своего, принца Георгия голштинского. Великий князь обошелся очень холодно с принцем Карлом, когда тот явился при дворе Елисаветы, и, узнавши чрез Шувалова, что императрица сердится на эту холодность, Петр написал тетке, что он не

может лучше обходиться с принцем, запятнавшим себя постыдным бегством при Цорндорфе. Разумеется, одною из первых мыслей Петра III по восшествии его на престол была мысль о свержении принца Карла с курляндского престола и о возведении на его место принца Георгия. Сделать это было легко: Курляндия была Польша в миниатюре, подвергаясь влиянию первого сильного, который считал нужным заняться ею, а сильнее всех был император русский, вследствие чего курляндцы давно привыкли смотреть на своих герцогов как на губернаторов, назначаемых в Петербурге. Опираясь при этих назначениях на волю шляхетства, на его избрание было легко, ибо постоянно существовали партии, преданные тому или другому из кандидатов; партию легко было употребить для почина дела, а равнодушное большинство готово было признавать герцогом всякого, кого поддерживало русское войско и кто обещал чины и аренды. Петр не велел извещать о своем восшествии на престол принца Карла и тем заявил, что не признает его законным герцогом курляндским. Русский уполномоченный в Митаве Симолин, старавшийся при Елисавете об избрании в герцоги принца Карла, теперь получил приказание разделить собственное дело и поддерживать партию, противную Карлу. Симолин схватился за главную причину недовольства против принца Карла в протестантской Курляндии, именно что принц был католик. Курляндской депутации, приехавшей в Петербург поздравить Петра с восшествием на престол, было объявлено сожаление императора, «сколь мало с фундаментальными правами герцогства Курляндского сходственно иметь им католического принца своим герцогом, умалчивая о других нарушениях их правостей». Сначала движение, направленное против принца Карла, шло во имя старого Бирона, и только в конце июня Симолин выставил принца Георгия, которому Бирон уступил свои права. Вследствие этого образовались в Курляндии три партии: принца Карла, Бирона и принца Георгия.

Перемена русской политики должна была отразиться и на отношениях к Турции.

Обрезков, не зная о резкой перемене политики своего двора, от 19 февраля доносил новому государю о действиях прусского посланника в Константинополе, и доносил по привычке в очень нелестных выражениях. Он писал о сугубом старании посланника склонить Порту прежде весны прибавить к дружественному и торговому трактату артикул союза; кроме «надменных посулов» посланник старался доказать сановникам Порты, какой вред получит Порта, если она не соединит своих интересов с интересами короля прусского, причем превозносил могущество и необыкновенные воинские способности своего короля, но потом, увидя, что эти восхваления ни к чему не служат и что взятие Кольберга нельзя более утаивать, переменял, по выражению Обрезкова, высокомерный язык даже до подлости, стал объявлять Порте, что без действительной и скорой ее помощи его государь непременно будет стеснен множеством неприятелей, вследствие чего принужден будет предаться русскому двору, ожидающему его с отверстыми объятиями, а это не может быть Порте полезно. Увидав, что Порта и от этих представлений его не приходит в жалость и страх, прусский посланник стал домогаться, чтоб по меньшей мере Порта сделала какое-нибудь движение, которое принудило бы петербургский и венские дворы выставить несколько военных сил на южных границах. Видя такие домогательства, Порта решила попытать русского, австрийского и французского послов насчет состояния европейских дел. К Обрезкову явился секретарь рейс-ефенди и после разных разговоров спросил, что он думает о домогательствах прусского посланника и какое, по его мнению, должно быть решение Порты. Обрезков отвечал, что эти домогательства нисколько не удивительны: прусский король, обманувшись в своих замыслах завоевать значительную часть Европы, угрожаемый совершенным разорением, ищет охотников разделить давящую его тяжесть, как обезьяна, видя разгоревшимися брошенные ею в огонь каштаны, ищет кошкиной лапы, чтоб их вытащить; что же касается решения Порты, то его нетрудно угадать, принимая в соображение мудрость великого визиря, который не захочет лишить Турцию покоя и подвергнуть опасностям войны в угодность королю прусскому, другу Порты со вчерашнего дня, тем более что религия запрещает ей вмешиваться в раздоры христианских держав. Секретарь

соглашался вполне с Обрезковым, что Порта никогда не заключит союза с прусским королем, но прибавил почти сквозь зубы: «Одно разве Порта может сделать: предложить свои добрые услуги для примирения России с Пруссией». «Это опять хитрости прусского посланника, – отвечал Обрезков, – он хочет другим путем достигнуть той же цели – охлаждения между Россией и Портой, ибо держава, предлагающая свои добрые услуги, обижается, когда их не принимают, а Россия не может принять добрых услуг Порты, не желая оскорбить другие державы, предлагающие подобные услуги и самое посредничество». Чтоб еще более убедить секретаря, Обрезков на прощание подарил ему золотые часы в 72 рубля. Но в Петербурге хотели совсем другого.

28 апреля любимец императора Гудович приехал к канцлеру с устным указом императора предписать Обрезкову внушить Порте, что если она рассудит теперь начать неприятельские действия против австрийского дома, то император в эту войну отнюдь вмешиваться не будет. Этот указ внушен был Петру прусским посланником Гольцем, который 11 мая приехал к канцлеру наведаться, отправлен ли указ к Обрезкову, потому что он, Гольц, уже писал о нем своему государю. Воронцов отвечал, что в коллегии готовится обыкновенная в каждом месяце экспедиция и указ пошлется при ней; но так как в Петербурге совершенно известно о миролюбии Порты, которая дала соседним державам точные уверения в дружбе, то исполнение упомянутого указа подвержено будет весьма предосудительной огласке без малейшей пользы; итак, не лучше ли бы было с русской стороны внушения Порте не делать до тех пор, как прусский посланник Рексен успеет побудить Порту к войне с Австрией; пусть турецкое министерство само отзовется к русскому резиденту о намерении своем сделать диверсию против Австрии в пользу Пруссии, и в таком случае русский резидент объявит, что его государь в предпринимаемой войне участия иметь не будет. Притом же русский двор имеет с венским особенный вечный трактат против Порты: оба двора обязались взаимно помогать друг другу против турок. Гольц согласился с канцлером, что прежде должен делать представления Рексен, русский резидент должен его подкреплять, а не мешать, и просил Воронцова отправить указ в этом смысле. Воронцов отвечал, что так как это дело великой важности и должно быть содержано в высшем секрете, то надобно остерегаться, чтоб себя не компрометировать. Гольц и с этим согласился и обещал писать от себя к Рексену. Это согласие Гольца на представления канцлера объясняется свидетельством Волкова, что он с другой стороны действовал в пользу принятия предложения Воронцова. Как видно, канцлер и Волков действовали в этом случае не без взаимного согласия. «Император, – говорит Волков, – по домогательству принца Георгия и барона Гольца приказал канцлеру отправить в Константинополь к Обрезкову указ и велеть, чтоб он старался поднять турок против венского двора и объявил бы, что наши с оным обязательства разорваны. Каково коротко было приказание, немного пространнее того сочинен был и указ в коллегию. Но коль скоро принесли ко мне из коллегии протокол для подписания, я не только в коллегию мнение против того письменно послал, но осмелился и самому бывшему императору сделать представление и столько одержал, что не велено уже Обрезкову самому вызываться, но разве турки спросят, будем ли мы венскому двору помогать, то отвечивал бы он собою, что после столь тягостной войны, конечно, не поступим мы на новую».

А между тем Обрезков от 20 мая писал императору: «Принял я вольность вашему императорскому величеству с рабским подтверждением всеподданнейше предложить о употреблении старания преклонить его величество короля прусского на отзыв пребывающего здесь посланника его, Рексена, и вовсе уничтожить основанное при Порте министерство его, которое дерзновение принять не что иное побудило меня, как всеподданнейшая рабская моя ревность к службе и искренняя усердность к высочайшим вашим интересам, по предусматриванию, что от продолжения при Порте прусского министерства для оных ваших интересов впредь разные неудобства быть могут, чему уже и неоспоримые доказательства являться начинают». По донесению Обрезкова, Фридрих II писал Порте, что по причине медленности ее заключением с ним союза

он был принужден помириться с Россией; несмотря на то, однако, он имеет истинное, точное и непоколебимое намерение сохранять дружбу с Портою и во всем поступать по ее советам.

Получив указ объясниться с Портою относительно диверсии ее против Австрии, Обрезков писал, что Порта не только не готова к такому предприятию, но и едва ли о том серьезно когда-нибудь думала. При этом Обрезков уведомлял, что 20 мая у министров Порты было рассуждение, заключать ли союз с прусским королем, и решено: заключить союз, но постановить, что его действие не простирается на настоящую войну, а только на будущее время; узнав же о тесном союзе Пруссии с Россией и о посылке с русской стороны на помощь Фридриху II вспомогательного корпуса, Порта отложила заключение союза и на этом условии, приняв выжидательное положение.

Так произошла внезапная, резкая, решительная перемена в политике России. Мы видели, какое впечатление произвела эта перемена в различных государствах Европы, смотря по тому как она относилась к их интересам; теперь взглянем, какое впечатление она произвела внутри России.

После Петра Великого, после сокрушения могущества Швеции, русские люди привыкли считать себя безопасными со стороны Запада, где нечего было бояться ни от слабой Швеции, ни от слабой Польши, где союз с Австриею обеспечивал со стороны Турции, где самым главным врагом России считалась отдаленная Франция, не могшая, однако, враждовать непосредственно, могшая вредить только интригами, подкупам: борьба с Франциею ограничивалась борьбою дипломатическою. Но в конце первой половины XVIII века эта безопасность со стороны Запада исчезла: здесь вдруг выдвинулась на первый план Пруссия, игравшая до тех пор второстепенную роль; знаменитый король ее, искуснейший полководец времени, не разбирал средств для усиления своего государства захватом чужих областей; Швеция, Польша, Турция вошли в круг деятельности Фридриха II, и везде интересы его необходимо сталкивались с русскими. Россия приняла деятельное участие в союзе, составленном для сокращения сил прусского короля. Война показала еще более эти силы, показала вместе с тем необходимость со стороны союзников не уставать в преследовании своей цели, и Россия действовала неумолимо, несмотря на все внутренние и внешние препятствия. Цель великих усилий и жертвований достигалась, Фридрих II доведен был до последней крайности – и в эту самую минуту вдруг все переменяется. Эта перемена не была торжеством известной стороны, которая держалась совершенно противоположных взглядов и теперь воспользовалась переменою царствующего лица для проведения этих взглядов; не было русских людей, которые сочувствовали Фридриху II и не сознавали необходимости сдержать его в непосредственных интересах отечества. Русские люди, бесспорно, тяготились продолжительной войною и желали мира, но мира честного, и этот честный мир был уже в руках, дожидаться его было недолго: награда за всю кровь, за все жертвования была готова. Новый император возбудил бы к себе полное сочувствие в русских людях, если бы явился вооруженным посредником в умирении Европы, если бы, признавая по примеру английского министерства необходимость для Фридриха II удовлетворить требованиям противников, в то же самое время умерил бы эти требования. Сам Фридрих сознавал необходимость уступок с своей стороны, что ясно видно из его инструкции Гольцу; он готов был уступить России Восточную Пруссию, заявляя желание получить вознаграждение с другой стороны (очень вероятно, что он имел в виду западную, польскую Пруссию, которая дала бы ему возможность удержать титул прусского короля, и понятно опасение, возникшее между поляками, что соглашение между Россией и Пруссией произойдет насчет Польши). Фридрих II хотел стать в то же положение, в какое при конце своего поприща становился Карл XII относительно Петра Великого, уступая России все ее завоевания, с тем чтоб Россия помогла ему получить *эквивалент* в другом месте. Но что имел право сделать Петр I, раздраженный неприязненными поступками своих союзников, на то не имел права Петр III относительно союзников России в Семилетнюю войну. На одно имел он право – в случае сильных препятствий к

мирному соглашению отказаться от своей доли вознаграждения от Пруссии, ибо хотя великодушные в политике обыкновенно не приносят плодов, но было бы удовлетворено чувство народа, нуждавшегося в честном мире, а не в лишнем клочке нерусской земли. Но сделанное Петром III глубоко оскорбляло русских людей, потому что шло наперекор всеобщему убеждению, отзывалось насмешкою над кровью, пролитой в борьбе, над тяжелыми жертвованиями народа для дела народного, правого и необходимого; мир, заключенный с Пруссией, никому не представлялся миром честным; но, что всего было оскорбительнее, видели ясно, что русские интересы приносятся в жертву интересам чуждым и враждебным; всего оскорбительнее было то, что Россия подпадала под чужое влияние, чужое иго, чего не было и в печальное время за двадцать лет тому назад, ибо и тогда люди, стоявшие наверху, люди нерусского происхождения – Остерман, Миних, Бирон – были русские подданные и не позволяли послам чужих государей распоряжаться, как теперь распоряжался прусский камергер Гольц. Прожили двадцать лет в утешительном сознании народной силы, в сознании самостоятельности и величия России, имевшей могущественное, решительное влияние на европейские дела, а теперь до какого позора дожили! Иностраный посланник заправляет русскою политикою, чего не бывало со времен татарских баскаков, но и тогда было легче, ибо рабство невольное не так позорно, как добровольное. И хотя бы такую страшно дорогою ценою куплен был мир? Но одна война кончилась для того, чтоб начать другую. Какую, зачем? Затем, что русский государь не мог решиться быть только русским государем.

К чести тогдашних русских людей, стоявших наверху, надобно сказать, что они не могли помириться с новым положением дел, исключая очень немногих ничтожностей, как, например, «голубицу» Фридриха II Андрея Гудовича. Затруднительнее других было положение великого канцлера графа Мих. Лар. Воронцова, потому что при перемене внешней политики на него были обращены глаза всех, его требовали к ответу: зачем не противодействует своими советами, представлениями, зачем соглашается, подписывает свое имя под актами, возбуждающими всеобщее негодование? Воронцов все это чувствовал, ему слышались эти страшные вопросы; но, во-первых, у него не доставало твердости характера и выдающихся способностей для борьбы, затрудняло его и расстройство денежных дел, наконец, болезненное состояние, невозможность постоянно следить за делами, противодействовать чуждым влияниям. Несмотря на то, Воронцов боролся сколько мог. В записке об отношениях России к другим державам, поданной императору 23 января, Воронцов говорил: «Российский императорский двор принял в войне против короля прусского участие по двум причинам: первая состояла в том, чтоб умножившуюся чрез меру силу сего государя, которая всем соседним дворам становилась страшною, возратить для будущей безопасности в умеренные пределы и отворить себе в европейские, а особливо имперские, дела путь и ближайшую инфлюенцию, которые по натуральному своему интересу старался король прусский затруднять явным образом, наипаче же не допустить его до новых завоеваний, следственно, при уменьшении сил соседей его и до вящего приращения; а другая (причина) происходила от принятых с венским двором общих обязательств». В заключение записки, упомянув, что едва ли Аугсбургский конгресс может теперь повести к миру, Воронцов продолжает: «Вашему импер. величеству предоставлена от всевышнего провидения слава совершить к общему благополучию сие великое дело. Россия чувствует тягость войны, но меньше других: не претерпела она во внутренних своих провинциях опустошения и не знает, каковы бывают следы неприятельского нашествия. От высочайшей вашего импер. величества воли зависит употребить к поспешствованию мира те способы, кои вы сами избрать изволите; но должности моей дело представить, что нужно весьма объявить союзным дворам о правилах, по каким ваше величество впредь систему империи вашей учредить намерены. Многажды оказывали они все, что искренне желают мира, да нельзя им одного не желать, когда последние истощаются способы к продолжению войны, но желают прочного и удовлетворительного. Не меньше надобен мир Англии и королю прусскому. Первая

изнурила себя при всех своих успехах жертвованием ужасных сумм, от которых народный кредит, все богатство ее составляющий, одним ударом невозвратно потряситься может; а король прусский видит большую часть земель своих разоренными почти вконец. Трудность состоит в том, как согласовать множество толь разнствующих интересов; но нужда заставит каждого уменьшать свои требования и довольствоваться чем ни есть малым вместо того, чтоб, гонясь за мечтами, доводить себя до крайности и совершенного изнеможения».

Представления канцлера не могли быть приняты: в них указывалось на необходимость для России принять участие в Семилетней войне для сдержания прусского короля, в них советовалось принять вооруженное посредничество и склонить всех умерить свои требования, тогда как было решено заставить всех отказаться от своих требований и удовлетворить требованиям одного – короля прусского. Для достижения этой цели мешала противная елисаветинская Конференция, начавшая и поддерживавшая с таким постоянством борьбу против Фридриха II; ее члены и теперь не откажутся от своих мнений. 29 января объявлен указ о небытии Конференции и о принятии из нее дел частью в Сенат, частью в Иностранную коллегию. Воронцов счел своею обязанностью представить о рановременности этой меры, облекая это представление в самые льстивые формы: «Достоинно и праведно превозносить с благоговением монаршее в. и. в. намерение, прямо великого самодержца достойное, чтоб все дела управлять собственным вашим трудом и руководствоваться вашим просвещением. В сем рассуждении не настает действительно никакой надобности продолжать Конференцию или учредить другой совет, и я крайне удален что-либо такое вашему величеству представлять, что бы противно было монаршему намерению все дела своим трудом управлять. Но, почитая главною и существительною всеподданнейшею должностью содействовать сему великодушному о пользе и славе империи вашей попечению, обязанным себя нахожу всеподданнейше представить: 1) что генеральные дела Европы в такую теперь кризу пришли, что систему или совсем новую принять, или же во многом переменить надобно будет. Сию новую систему составить, ни одной пользы не пропустить, а все то предусмотреть, что следствии вредного произвести могут, и все распоряжения согласно тому учредить не может ни Сенат, ни Иностранная коллегия. Паче же 2) когда пойдут дела на переписках между Сенатом и коллегиями, то секрет подвержен во многих руках великой опасности, а дела промедлению, а притом и то легко случиться может, что между разными местами произойдут от неясности разные мнения, от того несогласия, а от несогласия разногласные в. и. в-ству доклады». Из этого канцлер выводил необходимость или продолжить Конференцию, или учредить какой-нибудь тому подобный совет с прежними или другими членами. Воронцов решился даже защитить старую Конференцию: «Я почти наперед уверить смею, что чрез краткое время конференция прилежными трудами и ревнительным исполнением монаршей вашей воли удостоится высочайшей апробации и доверенности, как я и теперь пред в. и. в. по чести и с чистою совестью справедливо засвидетельствовать могу, что управление ее по сию пору делами было всегда руководствовано истинным и усердным о пользе государственной попечением и патриотическою к в. в. верностью, да и не сделано опять здешнему двору ни от кого нарекания, но паче служило к приобретению оному у всех дворов почтения». Это патриотическое заявление о патриотической верности Конференции уничтожило действие фимиама, воскуренного в начале доклада; Конференция не была восстановлена, и совет с самым неопределенным характером был учрежден только 20 мая, а между тем новая система устанавливалась под руководством прусского министра Гольца.

Уже было упомянуто, что расстройство в денежных делах увеличивало печальное положение канцлера. В марте он был принужден подать императору просьбу: «Я теперь более 200000 рублей долгу на себе имею, и не остается мне другого способа, как всенижайше просить в. и. в., дабы из великодушия и особливой ко мне милости высочайше повелеть изволили дом мой со всеми уборами в казну взять с заплатою из Монетной канцелярии или Медного банка 250000 рублей (которые по истинной цене новой монеты сочиняют только 62500 рублей), а

ежели неужгодно будет дом мой за оную цену взять, то повелеть из Медного банка без процентов выдать мне взаймы 300000 рублей. Довольно понимаю я, всемилостивейший государь, что в настоящих обстоятельствах казна в. в. великие расходы иметь должна, но когда ныне при счастливом вашем царствовании всемогущий Бог Европе драгоценный мир ниспосылает, следовательно, и все чрезвычайные в государстве издержки прекратятся, а по возвращении армии и расточенные многие миллионы в Россию возвратиться имеют, то и полагаюсь я с совершенною надеждою на сродное в. и. в. милосердие, что сие мое всеподданнейшее прошение милостиво услышать соизволите».

Затруднительные денежные обстоятельства заставляли Воронцова держаться своего места, хотя он чувствовал, что со степени канцлера низошел на степень правителя Канцелярии иностранных дел, заготавливающего бумаги по требованиям, объявленным ему Гольцем или принцем Георгием голштинским. Воронцов видел себя принужденным подчиниться требованию Петра, чтоб не смел поперечить ему в прусских делах. Но иногда горечь положения становилась нестерпимою, и в одну из таких минут Воронцов писал Петру: «Несчастное состояние чрез продолжение долговременной моей болезни и слабости лишает меня удовольствия видеть часто дражайшие очи в. и. в. и получать монаршие ваши повеления, равно как и по званию чина и должности моей иметь счастье по делам докладывать в. в-ству. Сие несчастное для меня состояние мне крайнюю печаль приносит, что я как по верности и усердной моей ревности, так паче по преданности моей к собственной персоне в. в-ства и к службе вашей не могу надлежаще, как я желаю, должность мою исполнить и принужден чрез пересылку и чрез третьи руки в. в-ству доклады чинить, подвергаясь тем некоторому неприятному истолкованию и гневу, как и в самом деле случилось, якобы в. и. в-ству чрез господина Волкова донесено, что я предприятия ваши против Дании химерическими поставлял, когда я говорил, что рановременным походом нашей армии без заготовления довольных магазейнов в пути в Германии и без готовых в наличности великих сумм денег, без подкрепления сильного флота и без помощи короля прусского или какой-либо другой державы сей поход был бы совсем бесплоден и к невозвратному убытку и бесславию последовал, что и ныне по совести и верности моей к в. в-ству иного сказать не могу. В. и. в. повелели мне поступать согласно с мнением вашим в рассуждении склонности вашей к его в-ству королю прусскому. Мое наиглавнейшее правило было и ныне есть, да и впредь будет – исполнять во всем волю моих самодержцев, в чем я и ни малейше не преступаю. В. и. в. соизволите быть совершенно уверены, что я ни к какой державе ни малейшей предилекции не имел и ныне не имею, а что касается до мирного трактата с е. в. королем прусским, я доныне о содержании его никакого сообщения и сведения не имею и не знаю ни воли, ни намерения вашего, на каких кондициях оный постановлен и заключен быть имеет. Впрочем, я с крайнею горестию слышал отзыв ваш, якобы я к Франции предан был. Сие мне смертельную печаль наносит; ежели в. в. о верности моей к вам и отечеству сомнения иметь изволите, я, конечно, не достоин ни единого часа в звании чина моего остаться; сего ради, припадая к стопам вашим, всенижайше прошу от сего напрасного нареkania и горестной печали меня освободить и буде, по несчастью и паче чаяния моего, какое-либо сомнение, ненадежность или неуждность в продолжение моей службы в. в. иметь изволите, то всенижайше прошу пожаловать меня милостиво уволить и дать мне свободу остальное время страждущей моей жизни в тишине и покое препроводить, нелишая меня, но паче обнадежа монаршею в. в. протекциею, которую я при сохранении репутации моей внутри и вне отечества почту себе за верх благополучия моего, предпочитая всякому видимому награждению и многим сокровищам. Я не могу и не умею лицемерить и льстить, а хочу и стараюсь в. в-ству служить с честью и славою, равно как с доброю верою и правдою, и в сих сентиментах до конца жизни моей пребуду, и, ежели иногда завидующие мне и недоброжелательные какие-либо внушения против меня в. в-ству учинили, всенижайше прошу для оправдания моего мне немедленно дать знать. Что же касается до данного мне вчера повеления говорить английскому министру Кейту

о присылке нынешним летом в диспозицию вашу английского флота, я при первом свидании с г. Кейтом говорить буду; токмо в. в. с английским двором союзного трактата не имеете, и что Англия, будучи ныне в двойной войне против Франции и Гишпании, не в состоянии да и без взаимных себе от вас аванжей не похочет прислать некоторое число кораблей, к тому же, сколько мне известно, Англия уже декларовала, что в имеющихся распрях между в. и. в-ством и королем датским участия принимать не будет, то сие требование может подвержено быть неприятному отказу, а о сем деле испрашиваю я дальнейшего повеления».

Подле великого канцлера видим и вице-канцлера князя Александра Мих. Голицына, перемещенного в последнее время елисаветинского царствования из Лондона; но если и канцлер не знал о важнейших делах внешней политики, то тем менее знал об них вице-канцлер. В последнее время елисаветинского царствования канцлеру помогал Ив. Ив. Шувалов, которого мы видим и участвующим в конференциях с иностранными послами. Но при Петре III Шувалов должен был потерять всякое влияние по противоположности тех начал в политике, которые он проводил *в свое время*, с началами, господствовавшими теперь. Ему предоставлена была скромная в то время деятельность в заведовании учебными заведениями; и тут он должен был обращаться к Волкову за советом, как ему лучше сделать императору необходимые по устройству вверенных ему учреждений представления, причем должен был выставить важное значение этих учреждений. «Вы лучше меня знаете, – писал он Волкову, – что счастье государства состоит в том, когда все части, его образующие, направляются стройно и определенно. Я поручаю вашей благосклонности две из таковых частей, которые в образованный век составляют славу и честь народов, – именно науки и искусства. В моем заведовании находится университет и Академия (художеств), и мне нужны правила, мне нужны инструкции».

Ив. Ив. Шувалов признал необходимым для себя, для своей славы быть бескорыстным и не искать почестей; в одном из своих писем он говорит, что отказался от звания вице-канцлера и от земель, которые предлагал ему Петр III, приводит в свидетели Гудовича, как он, Шувалов, на коленях умолял императора избавить его от всех знаков милости. Но он не мог быть доволен, потерявши всякое влияние, на которое считал себя вправе по своим нравственным средствам; он не мог быть доволен, когда система, которой он так ревностно служил, была ниспровергнута, когда все пошло таким образом, что беда грозила России внутри и унижения извне. Шувалов высказал свое неудовольствие; тогда с ним перестали обращаться с прежнею благосклонностью, и Шувалов счел нужным держать себя в отдалении от двора и от особы императора. Пруссаки Гольц и Шверин произвели Шувалова в главы заговора. «Первый и самый опасный человек здесь, – писал Шверин Фридриху II, – это Ив. Ив. Шувалов, фаворит покойной императрицы. Этот человек, живущий интригами, хотя внутренне и ненавидим императором, однако так хорошо умел уладить свои дела посредством друга своего генерала Мельгунова, любимца императора, что государь поручил ему Кадетский корпус и главный надзор за дворцом – должности, которые делают пребывание его в столице необходимым, тогда как это самый вредный и опасный человек! Этот господин не умеет притворяться и скрывать недостойные и позорные замыслы, питаемые им в сердце. Бешенство и негодование написаны на его лице, и я готов прозакладывать что угодно, что у него страшные планы в голове. Второй из этих вредных людей есть генерал Мельгунов, он, пожалуй, был бы еще опаснее первого, если бы был так же умен. Император совершенно ему доверился, а между тем этот человек вместе с господином Иваном Ивановичем и еще одним, Волковым, – самые главные его враги и ждут только первого удобного случая, чтоб лишить его престола. Я пространно говорил об этом с императором и даже назвал имена опасных лиц, но его величество отвечал, что знает о неблагонамеренности этих людей, но он дал им столько занятий, что у них нет досуга думать о заговорах и потому он безопасен с этой стороны. Очень прискорбно, что этот государь так полагает этим господам, которые живут одною мыслию, как бы его погубить, а чрез удаление этих негодяев он мог бы сидеть на престоле совершенно покойно. Но, как нарочно, он готов дать им самый

благоприятный случай, которым они, конечно, как можно скорее воспользуются: император решился принять лично начальство над войском, назначенным против датчан».

Итак, Ив. Ив. Шувалов – глава заговора, по уверению Гольца и Шверина, он ждет только удаления Петра из России, чтоб свергнуть его: ясно, что если Петр непременно хочет уехать, то нельзя оставлять без него Шувалова в Петербурге. Петр сам говорит Шувалову: «Прусский король мне пишет, что ни один из подозрительных мне людей не должен оставаться в Петербурге в мое отсутствие». Шувалов мог подумать, что это к нему вовсе не относится, но вслед за тем Петр чрез Мельгунова велел сказать Шувалову, чтоб он следовал за ним в армию в качестве волонтера.

Ив. Ив. Шувалов не мог быть главою заговора, потому что не был способен к этому по своей природе; но важно то, что Гольц и Шверин говорят о его сильном неудовольствии, которого он не мог скрыть, говорят о бешенстве и негодовании, написанном на его лице. Но еще важнее то, что Гольц и Шверин считают заговорщиками и Мельгунова с Волковым и этим вполне подтверждают показания Волкова относительно ненависти к нему пруссаков и принца Георгия. «Принц Георгий, – говорит Волков, – озлобился на меня столько ж, как Гольц, буде не больше, будучи наущаем и с другой стороны Хорватами и Глебовыми, и до того дошел, что 9 июня, будучи пьян, следовательно, откровенен и искренен, обвинил меня ненавистью к немцам, уграживая доказать мне, как дважды два четыре, что я тот человек, который составил проект выгнать из России всех немцев, и сему странному происшествию, а моей на весь день горести был весь двор свидетель».

Пруссаки ничего не говорят о Глебове, вероятно потому, что он не имел влияния на иностранные дела. Два главных дельца – Волков и Глебов – были в ссоре и старались вредить друг другу. Смотря по тому, что Глебов при перемене правительства остался в прежнем значении, нельзя думать, чтоб его считали очень довольным при Петре; да и трудно было кому-нибудь быть довольным при анархии, когда не было никакой силы, на которую можно было бы опереться, когда, захвативши удобную минуту, можно было провести какое-нибудь дело, но это дело разделялось другим в следующую минуту. Таким образом, люди, которые на первых порах желали и могли поддерживать правительство Петра III, делать его популярным, очень скоро увидели, что ничего сделать не в состоянии, и с отчаянием смотрели на будущее отечества, находившееся в руках иностранцев бездарных и министров чужого государя, накануне бывшего заклятым врагом России.

К неудовольствию отдельных лиц присоединялось неудовольствие могущественных сословий – духовенства, войска. Резкое, крутое решение вопроса о церковных имуществвах возбуждало сильное негодование духовенства. Гольц доносил своему государю 25 мая: «Духовенство подало императору представление на русском и латинском языках, где жалуется на насилия и странные поступки с собою вследствие указа об отобрании церковных имуществ; таких поступков духовенство не могло ожидать и от варварского правительства, а теперь принуждено терпеть их от правительства православного, и это тем горестнее, что духовные люди терпят насилие потому только, что они суть служители Божии. Эта бумага, подписанная архиепископами и многими из духовенства, составлена в чрезвычайно сильном тоне, это не просьба, а скорее протест против государя. Донесения, полученные вчера и третьего дня от воевод отдаленных областей, говорят о старании духовенства подуть народ против монарха. В донесениях говорится, что дух мятежа и неудовольствия стал до того всеобщим, что они, воеводы, не знают, какие меры предпринять, а потому требуют наставлений от правительства». Мы знаем, что крестьянские восстания были сильные и не в одних отдаленных областях, но знаем также, что причины их были другие, и потому можем не принимать второй половины Гольцева известия, но первую не принять трудно. Когда Петр был великим князем, то выражал свое нерасположение к русскому духовенству ребяческим образом – высовыванием языка священникам и дьяконам во время богослужения. Но теперь дело пошло серьезнее. 26 марта был

дан императором такой указ Синоду: «Уже с давнего времени к нашему неудовольствию, а к общему соблазну примечено, что приходящие в Синод на своих властей или епархиальных архиереев челобитчики по долговременной сперва здесь волоките наконец обыкновенно без всякого решения к тем же архиереям отсылаются на рассмотрение, на которых была жалоба, и потому в Синоде или не исполняется существительная оного должность, или же, и того хуже, делается одна только потачка епархиальным начальникам, так что в сем пункте Синод походит больше на опекуна знатного духовенства, нежели на строгого наблюдателя истины и защитника бедных и неповинных. Приложенные при сем челобитные Черниговской епархии священника Бордяковского и диакона Шаршановского суть новое и неоспоримое тому доказательство, ибо, несмотря на данные Синоду еще с 1754 года именные указы о решении их дела, не исполнены потому и донныне, а только отсылаются они на рассмотрение в ту же епархию. Мы видим, какие тому причины могут быть поводом, но оные соблазнительнее еще самого дела. Кажется, что равный равному себе судить опасается, и потому все вообще весьма худое подают о себе мнение. Сего ради повелеваем Синоду чрез сие стараться крайним наблюдением правосудия соблазны истребить и не только по сим двум челобитным немедленное решение здесь сделать, но и всегда по подобным здесь же решить, нашим императорским словом чрез сие объявляя, что малейшее нарушение истины накажется как злейшее государственное преступление, а сей указ не токмо для всенародного известия напечатать, но в Синоде к настольным указам присокупить». Для наблюдения, чтоб не было неправильностей в ходе дел, в Синоде был обер-прокурор; обер-прокурору нужно было сделать строгое внушение, сменить его, если он не исполнял своих обязанностей, или поддерживать его в борьбе с членами коллегии, когда он ратовал против «нарушения истины», в оскорбительных же указах не было никакой нужды.

Черное духовенство было раздражено внезапным отнятием монастырских вотчин, белое – повелением брать в военную службу священнических и дьяконских сыновей; а тут раздраженным дается средство передавать свое раздражение и другим. Упомянув о некоторых постановлениях нового царствования, возбудивших удовольствие, русский современник говорит: «Но последовавшие затем другие распоряжения императора возбудили сильный ропот и негодование в подданных, и более всего то, что он вознамерился было переменить совершенно религию нашу, к которой оказывал особенное презрение. Он призвал первенствующего архиерея (новгородского) Димитрия Сеченова и приказал ему, чтоб в церквах оставлены были только иконы Спасителя и Богородицы, а других бы не было, также чтоб священники обрили бороды и носили платье, как иностранные пасторы. Нельзя изобразить, как изумился этому приказанию архиепископ Димитрий. Этот благоразумный старец не знал, как и приступить к исполнению такого неожиданного повеления, и усматривал ясно, что государь имел намерение переменить православие на лютеранство. Он принужден был объявить волю государеву знатнейшему духовенству, и хотя дело на этом до времени остановилось, однако произвело во всем духовенстве сильное неудовольствие, содействовавшее потом очень много перевороту». Домовые церкви были запечатаны. Писатель иностранный, сочувствующий Петру, выставляет все неблагоприятные распоряжения относительно выноса икон из церкви, прибавляя, что Димитрий Сеченов за протест против этой меры был удален, но скоро опять возвращен из страха пред народным неудовольствием.

К неудовольствию духовенства присоединялось неудовольствие войска. Одним из первых дел нового царствования было распускание елисаветинской лейб-кампании. Уничтожение этой «гвардии в гвардии», разумеется, могло возбудить только удовольствие, если бы на месте старой русской лейб-кампании не увидели тотчас же новой, только иностранного происхождения, голштинской гвардии, пользовавшейся явным предпочтением императора, что и возбуждало сильнейшее неудовольствие в русской гвардии. Первенствующее значение в войске получил иностранный принц Георг голштинский, не имевший никаких заслуг и постаравшийся тотчас же своим характером и поступками возбудить против себя ненависть. Сам Гольц должен

был потом сознаться пред Фридрихом II, что принц Георгий много содействовал возбуждению сильной ненависти против немцев и ускорил падение своего государя. Опять, как во времена Бирона, стали говорить, что гвардии придет скоро конец, что ее распределят по армейским полкам; Петр, будучи еще великим князем, часто говаривал, что гвардейцы, живя в своих казармах с семействами, точно держат резиденцию в осаде и будут опасны правительству; Петр называл гвардейцев янычарами. При таких основных причинах неудовольствия все не нравилось, все возбуждало ропот: роптали на перемену формы, на частое и долгое ученье по новому, прусскому образцу. Русский современник-очевидец так говорит о неудовольствии в войске и его причинах: «Негодование во многих произвел и число недовольных собою увеличил он, Петр, и тем, что с самого того часа, как скончалась императрица, не стал уже он более скрывать той непомерной приверженности и любви, какую имел всегда к королю прусскому. Он носил портрет его на себе в перстне беспрерывно, и другой, большой, повешен был у него подле кровати. Он приказал тотчас сделать себе мундир таким покроем, как у пруссаков, и не только стал сам всегда носить оный, но восхотел и всю гвардию свою одеть таким же образом; а сверх того, носил всегда на себе и орден прусского короля, давая ему преимущество пред всеми российскими. А всем тем не удовлетворяясь, восхотел переменить и мундиры во всех полках и вместо прежних одноцветных зеленых поделал разноцветные, узкие и таким покроем, каким шьются у пруссаков оные. Наконец, и самым полкам не велел более называться по-прежнему по именам городов, а именоваться уже по фамилиям своих полковников и шефов; а сверх того, введя уже во всем наистрожайшую военную дисциплину, принуждал их ежедневно экзерцироваться, несмотря, какая бы погода ни была, и всем тем не только отяготил до чрезвычайности все войска, но и, огорчив всех, навлек на себя, и особливо от гвардии, превеликое неудовольствие».

Вельможи, старики, имевшие почетное место в гвардии, должны были подчиниться новым порядкам, если не хотели навлечь на себя неудовольствия и насмешек императора. Известный Болотов, приехавший в это время в Петербург, так описывает впечатление, произведенное на него проходившим отрядом гвардии: «Шел тут строем detachment гвардии, разряженный, распудренный и одетый в новые тогдашние мундиры, и маршировал церемониею. Но ничто меня так не поразило, как идущий пред первым взводом низенький и толстенный старичок с своим эспантоном и в мундире, унизанном золотыми нашивками, со звездой на груди и голубою лентою под кафтаном и едва приметною. „Это что за человек?“ – спросил я. „Как! разве вы не узнали? Это князь Никита Юрьевич Трубецкой!“ – „Как же это? Я считал его дряхлым и так болезнью ног отягощенным стариком, что, как говорили, он затем и во дворец, и в Сенат по несколько недель не ездил, да и дома до него не было почти никому доступа?“ „О! – отвечали мне. – Это было вовремя оно; а ныне, рече Господь, времена переменялись, ныне у нас больные, и небольшие, и старички самые поднимают ножки и наряду с молодыми маршируют и так же хорошононько топчут и месят грязь, как солдаты!“». Старший Разумовский, Алексей Григорьевич, избавился от подобного положения увольнением от всех должностей, но младший, гетман Кирилла, должен был держать у себя на дому молодого офицера, который давал ему уроки в новой прусской экзерции, и все же не спасался от выговоров и насмешек Петра III, и говорили, что император находил особенное удовольствие смеяться над Разумовским, не способным по природе к военным упражнениям.

Много веселых минут доставляли императору также придворные дамы, которых он заставлял переменить старый русский поклон на французское приседание; многие дамы, особенно старухи, никак не умели приловчиться к приседанию, и комическое положение их при этом доставляло Петру величайшее удовольствие: он наблюдал за ними и потом передразнивал. «Я была очень смешлива, – рассказывала потом одна знатная дама-современница, – государь, бывало, нарочно смешил меня разными гримасами. Он не похож был на государя».

Сильное неудовольствие распространялось в Петербурге; но и в местах отдаленных не могли не заметить, что в правительственной машине какое-то расстройство. В начале царство-

вания государь велел перевести Мануфактур-коллегию из Москвы в Петербург; но потом опять указ: «Хотя и повелели е. и. в. Мануфактур-коллегию из Москвы взять сюда, а там контору оставить, но как все фабрики или в Москве, или поблизости от оной и здесь так мало, что и ни в какое против того сравнение поставить нельзя, следовательно, Мануфактур-коллегия, будучи здесь, имела бы, так сказать, заочное за своею должностью смотрение, то повелеваем коллегию паки немедленно к Москве возвратить; а здесь по-прежнему контору оставить». 9 января именным указом уничтожены полицеймейстеры в городах, полиция поручена губернским провинциальным и воеводским канцеляриям, а 22 марта именным же указом полицеймейстеры восстановлены.

И в местах отдаленных видели расстройство в правительственной машине; в Петербурге видели, отчего происходит это расстройство. Вследствие детской слабости характера Петр быстро перенимал все у людей, среди которых обращался, к которым привязывался. Пристранившись к голштинским офицерам, заключившись в их обществе, Петр перенял казарменные привычки и грубый кутеж сделал своим любимым препровождением времени. При императрице Елисавете о табаке не было слышно во дворце, потому что она терпеть его не могла, и сам Петр сначала не мог его терпеть; но как скоро увидал, что голштинцы, которых он считал образцовыми людьми, героями, курят, то и начал курить. Когда прежний наставник его Штелин изумился, увидав его в первый раз с трубкою за пивом, то Петр сказал ему: «Чему ты удивляешься, глупая голова! Разве ты видал хотя одного настоящего бравого офицера, который бы не курил?» За пивом последовало и вино. «Всеобщие негодования, – по словам современника-очевидца Болотова, – увеличились еще более, когда стали рассеиваться повсюду слухи и достигать до самого подлого народа, что государь не успел вступить на престол, как предался публично всем своим невоздержностям и совсем неприличным такому великому монарху делам, и что он не только с графиней Воронцовой, как с публичною своею любовницею, препровождал почти все свое время, но, сверх того, в самое еще то время, когда скончавшаяся императрица лежала в дворце еще во гробе, целые ночи проводил с любимцами, льстецами и прежними друзьями своими в пиршествах и питье, приглашая иногда к тому таких людей, которые нисколько не достойны были общества и дружеского собеседования с императором, как, например, итальянских театральных певиц и актрис вкупе с их толмачами; а что всего хуже, разговаривая на пиршествах таковых вьявь обо всех и обо всем и даже о самых величайших таинствах и делах государственных... Голос у него был очень громкий, скоросый и неприятный, и было в нем нечто особое и такое, что отличало его так много от всех прочих голосов, что можно было его не только слышать издалека, но и отличать от всех прочих. Болотов был адъютантом главного начальника полиции генерала Корфа (Николая), ездил с ним во дворец и наблюдал издали, что там происходило за обедами и ужинами. „Мы, – говорит он, – могли всегда в растворенные двери слышать, что государь ни говорил с другими, а иногда и самого его и все деяния видеть. Но сие было для нас удовольствием только сначала, а впоследствии времени скоро дошло до того, что мы желали уже, чтобы таковые разговоры до нашего слуха и не достигали; ибо как редко стали уже мы заставить государя трезвым и в полном уме и разуме, а всего чаще уже до обеда несколько бутылок аглинского пива, до которого он был превеликий охотник, уже опорожнившим, то сие и бывало причиною, что он говаривал такой вздор и такие нескладицы, что при слушании оных обливалось даже сердце кровью от стыда пред иностранными министрами, видящими и слышащими то и, бесспорно, смеющимися внутренно. Истинно, бывало, вся душа так поражается всем тем, что бежал бы неоглядкою от зрелища такового: так больно было все то видеть и слышать. Но никогда так много не поражался я досадными зрелищами таковыми, как в то время, когда случалось государю ездить обедать к кому-нибудь из любимцев и вельможей своих и куда должны были последовать все те, к которым оказывал он отменное свое благоволение, как, например, и генерал мой, и многие другие, а за ними и все их адъютанты и ординарцы. Табун, бывало, целый поскачет вслед за

поехавшими, и хозяин успевай только всех угаживать и потчевать. Одни только трубки и табак приваживали мы с собою из дворца свои. Ибо как государь был охотник до курения табака и любил, чтоб и другие курили, а все тому натурально в угодность государю и подражать старались, то и приказывал государь всюду, куда ни поедет, возить с собою целую корзину голландских глиняных трубок и множество картузов с кнастером и другими табаками, и не успеем куда приехать, как и закурятся у нас несколько десятков трубок и в один миг вся комната наполнится густейшим дымом, а государю то было и любо, и он, ходючи по комнате, только что шутил, хвалил и хохотал. Но сие куда бы уже ни шло, если б не было ничего дальнейшего и для всех россиян постыднейшего. Но то-то и была беда наша! Не успеют, бывало, сесть за стол, как и загремят рюмки и покалы, и столь прилежно, что, вставши из-за стола, сделаются иногда все, как маленькие ребяточки, и начнут шуметь, кричать, хохотать, говорить нескладницы и несообразности сущие. А однажды, как теперь вижу, дошли до того, что, вышедши с балкона прямо в сад, ну играть все тут, на усыпанной песком площадке, как играют маленькие ребятки; ну все прыгать на одной ножке, а другие согнутым коленом толкать своих товарищей. А по сему судите, каково ж нам было тогда смотреть на зрелище сие из окон и видеть сим образом всех первейших в государстве людей, украшенных орденами и звездами, вдруг спрыгивающих, толкущихся и друг друга наземь валяющих? Хохот, крики, шум, биение в ладоши раздавались только всюду, а покалы только что гремели“.

У русских людей сердце обливалось кровью от стыда пред иностранными министрами. Эти иностранные министры в донесениях своим дворам оставили единогласные свидетельства о неприличии пирушек Петра III, возбуждавших сильное неудовольствие в народе. Об этом неудовольствии приведем слова того же очевидца: «Ропот на государя и негодование ко всем деяниям и поступкам его, которые, чем далее, тем становились хуже, не только во всех знатных с часу на час увеличивалось, но начинало делаться уже почти и всенародным, и все, будучи крайне недовольным заключенным с пруссаками перемирием и жалея о ожидаемом потереении Пруссии, также крайне негодуя на беспредельную приверженность государя к королю прусскому, на ненависть и презрение его к закону, на крайнюю холодность, оказываемую к государыне, его супруге, на слепую его любовь к Воронцовой иначе всего на оказываемое потому более презрение ко всем русским и даваемое преимущество пред ними всем иностранцам, а особливо голштинцам, отважились публично и без всякого опасения говорить, и судить, и рядить все дела и поступки государевы. Всем нам тяжелый народный ропот и всеобщее час от часу увеличивающееся неудовольствие на государя было известно, и как со всяким днем доходили до нас о том неприятные слухи, а особливо когда известно сделалось нам, что скоро с прусским королем заключится мир и что приготавливался уже для торжества мира огромный и великолепный фейерверк, то нередко, сошедшись на досуге, все вместе говаривали и рассуждали мы о всех тогдашних обстоятельствах и начали опасаться, чтоб не сделалось вскоре бунта и возмущения, и особливо от огорченной до крайности гвардии».

Мы видели, что посланцы Фридриха II Гольц и Шверин скоро заметили сильное неудовольствие и дали знать о нем своему государю, выставя самыми опасными для Петра людьми Ив. Ив. Шувалова, Мельгунова и Волкова. Они были уверены и уверяли короля, что эти люди воспользуются отъездом Петра к армии по поводу датской войны и произведут восстание. Поэтому они стали уговаривать императора не ездить, уверяя, что его присутствие в России необходимо для блага империи; но Петр отвечал, что он изумляется их словам, которые доказывают ему только одно, что они его не любят. Тогда они обратились к Фридриху II, и Шверин писал королю 8 апреля: «Никто в мире, кроме в. в., не может отвратить императора от этого опасного путешествия. Письмо от в. в., в котором вы посоветуете ему остаться в России, заставит его переменить намерение. Он наверное последует вашему совету, потому что питает к в. в. совершенное доверие».

Гольц 2 мая писал королю о том же, выставя необходимость для Петра прежде похода короноваться. Но 4 мая (н. ст.) Фридрих уже писал Петру: «Признаюсь, мне бы очень хотелось, чтоб в. в. уже короновались, потому что эта церемония производит сильное впечатление на народ, привыкший видеть коронование своих государей. Я вам скажу откровенно, что не доверяю русским. Всякий другой народ благословлял бы небо, имея государя с такими выдающимися и удивительными качествами, какие у в. в. (*eminentes et admirables qualites*); но эти русские, чувствуют ли они свое счастье, и проклятая продажность какого-нибудь одного ничтожного человека разве не может побудить его к составлению заговора или к поднятию восстания в пользу этих принцев Брауншвейгских? Припомните, в. и. в., что случилось в первое отсутствие императора Петра I, как его родная сестра составила против него заговор! Предположите, что какой-нибудь негодяй с беспокойной головой начнет в ваше отсутствие интриговать для возведения на престол этого Ивана, составит заговор с помощью иностранных денег, чтоб вывести Ивана из темницы, подговорить войско и других негодяев, которые и присоединятся к нему; не должны ли вы будете тогда покинуть войну против датчан, хотя бы все шло с отличным успехом, и поспешно возвратиться, чтоб тушить пожар собственного дома? Эта мысль привела меня в трепет, когда пришла мне в голову, и совесть мучила бы меня всю жизнь, если б я не сообщил эту мысль в. и. в. Я здесь, в глубине Германии, я вовсе не знаю вашего двора, ни тех, к которым в. в. может иметь полную доверенность, ни тех, кого можете подозревать; поэтому вашему великому разуму принадлежит различить, кто предан и кто нет; я думаю одно, что если в. в. угодно принять начальство над армиею, то безопасность требует, чтоб вы прежде короновались, и потом, чтоб вы вывели в своей свите за границу всех подозрительных людей. Таким образом, в. в., будете обеспечены; для большей безопасности надобно заставить также всех иностранных министров следовать за вами, этим вы уничтожите в России все семена возмущения и интриги, а чтоб все эти господа не были вам в тягость, вы можете всегда их отправить в Росток, или Висмар, или в какое-нибудь другое место позади армии, чтоб они не могли передавать датчанам ваших планов. Я не сомневаюсь также, что вы оставите в России верных надсмотрщиков, на которых можете положиться, голштинцев или ливонцев, которые зорко будут за всем наблюдать и предупреждать малейшее движение».

Что же отвечал Петр? «В. в. пишете, что, по вашему мнению, я должен короноваться прежде выступления в поход именно по отношению к народу. Ноя должен вам сказать, что так как война почти начата, то я не вижу возможности прежде короноваться точно так же по отношению к народу; коронация должна быть великолепна, по обычаю, и я не могу сделать великолепной коронации, не имея возможности ничего вскорости здесь найти. Что касается Ивана, то я держу его под крепкою стражею, и если бы русские хотели сделать мне зло, то могли бы уже давно его сделать, видя, что я не принимаю никаких предосторожностей, предавая себя в защиту господа Бога, ходя пешком по улицам, что Гольц может засвидетельствовать. Могу вас уверить, что когда умеешь обходиться с ними, то можно быть покойным на их счет. В. в.! что подумают обо мне эти самые русские, видя, что я сижу дома в то самое время, когда идет война в моей родной земле? Русские, которые всегда желали одного – быть под властью государя, а не женщины; двадцать раз я сам слышал от солдат моего полка: „Дай Бог, чтоб вы скорее были нашим государем, чтоб не быть нам больше под властью женщины“. Но что всего важнее: я никогда не прощу себе этой подлой трусости, я умру с тоски от мысли, что я, будучи первым принцем моего дома, остался в бездействии, когда велась война для возвращения того, что было несправедливо отнято у его предков, и в. в. много потеряли бы из своего уважения ко мне, если бы я это сделал».

Таким образом, отъезд к армии был решен, несмотря даже на отсоветования Фридриха II. Последний главнокомандующий армиею граф Бутурлин был отозван в Петербург еще при жизни Елисаветы. Он ехал оправдываться пред государынею, которая хотя и была согласна с Конференциею насчет ошибок его, но все же он мог рассчитывать на милостивый прием, как

видно из письма его к Ив. Ив. Шувалову: «Я в моей горести единое утешение имею, когда от в. п-ства милостивое письмо удостоюсь получить, как и сегодня от 17 сентября принял с моим вечным благодарением, а наипаче к сердечному моему обрадованию, что я еще в числе верных рабов у е. и. в. нахожусь и что по милости Конференции давно бы меня на свете не было. Сперва не только величали меня и ублажали паче мер моих, а ныне живого во гроб все-ляют и поют: Святой Боже! Моего промедления нигде и никогда промедление не было напрасное. Вступитесь за верного раба е. в.; еще ныне получил, к обиде моей, чтобы и Ангюринова отдал графу Румянцеву, кой у меня один и есть и все секретные дела на него положены, а я остался один писарем и копиистом. Я не чаял бы такой жестокой обиды от его высокородия Волкова». Бутурлин не застал в живых Елисаветы; он на дороге получил рескрипт нового императора, в котором обнадеживался в непременной милости и благоволении. Граф Фермор 19 февраля был вовсе уволен от службы. Главное начальство над заграничною армиею поручено было графу Петру Семен. Солтыкову. Но уже при Елизавете по распоряжениям относительно Бутурлина было ясно видно, что старые главнокомандующие не будут более действовать, ибо Семилетняя (для России пятилетняя) война выказала молодые способности. Между ними первое место принадлежало покорителю Кольберга графу Петру Александр. Румянцеву. Понятно, что и Петр, замыслив датскую войну, последовал общему указанию и поручил ему кампанию. Февраль месяц Румянцев пробыл в Петербурге, вызванный туда императором, и в начале марта, заручившись дружбою первого дельца по всем частям Волкова, отправился к своему корпусу в Померанию для приготовлений к походу. 21 мая отправлены были ему наставления считать войну с Данией не только неизбежною, но и действительно объявленную и потому спешить утвердиться в Мекленбурге, прежде чем датчане туда войдут. Наставление было отправлено с большою тайною, но один приятель показал копию с него Гольцу, и тот остался очень недоволен, потому что пруссаки надеялись, что дело уладится или оттянется Берлинским конгрессом. «Излишне указывать в. в-ству, – писал Гольц королю, – на коварство составителя этого указа относительно конгресса и непоследовательность, которая обнаруживается в каждом слове; приказание устроить магазины в Ростоке и Висмаре и особенно ввести армию в Мекленбург в высшей степени странно, по моему мнению. Не надобно приписывать этого е. и. в-ству, потому что решение состоялось иначе в совете; виноват г. Волков, который осмелился дать ему такую окончательную форму. Император утаил от меня это приказание. В. в-ство усмотрите, как это мне неприятно, что при всех милостях и доверии императора ко мне противная партия может заставить его скрыть от меня самые важные дела, которые в. в-ство должны знать прежде всякого другого». Между тем принц Георг голштинский настоятельно убеждал Гольца упросить Фридриха II, чтоб тот уговорил Петра не ездить к армии. «Вам хорошо известно, – сказал ему на это Гольц, – как е. и. в-ство отвечал королю на подобные советы: он отвечал, что лучше его знает внутреннее состояние своей страны, что уверен в преданности своих подданных и что его слава требует отъезда к армии. После такого ответа я, конечно, уже не решусь просить короля, моего государя, повторить те же самые свои советы императору. Зачем так поспешили обнародовать об отъезде императора, зачем дали знать министрам иностранным, чтоб они следовали за ним? Теперь я уже не вижу, как может император остаться без потери своего достоинства после всех этих разглашений: в Европе увидят, что причиною такой перемены намерения было опасение каких-нибудь волнений в стране вследствие отсутствия государя». Принц продолжал толковать о дурном состоянии войска, назначаемого в поход, о недостатке денег и съестных припасов. «Два месяца, – отвечал Гольц, – я толкую с вами и с самим императором, что надобно принять меры против этого, если уже война казалась ему неизбежною, что нечего грозиться задавить датчан, если еще нет уверенности, что все готово; мне постоянно отвечали, что все приготовления сделаны, тогда как я хорошо знал, что нет. Видя, наконец, что мои представления ни к чему не служат и

могут только навлечь на меня гнев е. и. в-ства, я замолчал; теперь, зная дурное состояние дел, надобно обречь себя на неудачную войну, которой можно было избежать переговорами».

До получения инструкции 21 мая Румянцев находился в сильном беспокойстве: его мучила мысль, что войны не будет, что ему не удастся отличиться блестящим походом. Получив инструкцию, он писал Волкову из Кольберга 8 июня: «Правда, что мое смущение немало было и на время большое, что я от вас, моего вселюбезного друга, не получал никакого ответа. Я уже отчаял вовсе быть для меня делу каковому-либо; ныне же, получа всеприятнейшее ваше письмо со обнадеживанием вашей дружеской милости продолжения и с подтверждением мне наивеселеннейшей милости и благоволения, я столь больше обрадован: вы знаете, что всякий ремесленник работе рад. Дай Боже только, чтоб все обстоятельства соответствовали моему желанию и усердию, то не сомневаюсь, что я всевысочайшую волю моего великого государя исполню. В полковники и штабс-офицеры я доклад подал. Правда, что умедлил маленько, да и разбор мой велик был, я все притом соблюл, что мне только можно было для пользы службы, я тех, кои не из дворян и не офицерских детей, вовсе не произвел: случай казался мне наиспособнейший очиститься от проказы, чрез подлые поступки вся честь и почтение к чину офицерскому истребились».

Но вслед за этим письмом, выражавшим радость ремесленника, добывшего себе работу, Румянцев принужден был посылать совсем другие донесения императору; он писал, что недостаток съестных припасов приводит его в крайнее отчаяние, а, с другой стороны, пруссаки вместо помощи затрудняют его своими требованиями возвращения померанских мест. Но последние донесения Румянцева уже не застали Петра на престоле.

В июне месяце «время было шаткое и самое критическое: опасались, чтоб не сделалось вскоре бунта и возмущения, а особливо от огорченной до крайности гвардии». Но в чье же имя могло произойти восстание? Фридрих II указывал соперника Петру в человеке, который прежде Петра носил титул императора всероссийского и который теперь томился в Шлюссельбургской крепости. Петр отвечал Фридриху, что держит Ивана под крепкою стражею. Через неделю после своего восшествия на престол, 1 января, Петр, командируя на смену известного нам Овцына капитана гвардии князя Чурмантеева «для караула некоторого важного арестанта в Шлюссельбургской крепости», дал ему указ: «Буде сверх нашего чаяния кто б отважился арестанта у вас отнять, в таком случае противиться сколько можно и арестанта живого в руки не отдавать». В инструкции Чурмантееву, подписанной граф. Александром Шуваловым, говорилось: «Если арестант станет чинить какие непорядки или вам противности или же что станет говорить непристойное, то сажать тогда на цепь, доколе он усмирится, а буде и того не послушает, то бить по вашему рассмотрению палкою и плетью». Вслед за тем от 11 января Чурмантеев получил секретнейший указ: «Без нашего указа того арестанта никуда не перевозить и никому не отдавать, а когда соизволение наше будет в какое другое место арестанта перевести, тогда прислан будет наш генерал-адъютант князь Голицын или генерал же адъютант барон фон Унгерн с именным указом за подписанием собственной нашей руки, а кроме оных, хотя б кто и с именным указом за подписанием собственной руки нашей приехал и стал требовать арестанта, тому не верить и, задержав под караулом, писать для донесения нам к нашему генерал-фельдмаршалу графу Шувалову». Того же числа отправлен был секретнейший указ шлюссельбургскому коменданту Беренникову, чтоб допустил Голицына или Унгерна, и если прикажут Чурмантееву с арестантом и его командою из крепости выехать, то не воспрещать.

Приведенное предписание прямо указывает на желание императора взять на некоторое время Ивана Антоновича из Шлюссельбурга и подтверждает известие, что узник действительно был привозим в Петербург, где Петр его видел. Это свидание должно было происходить 22 марта, потому что в этот день Чурмантеев получил указ: «К колоднику имеете тотчас допустить нашего генерал-адъютанта барона Унгерна и с ним капитана Овцына, а потом и всех тех, которых барон Унгерн пропустить прикажет». Между «всеми теми» должен был находиться и

сам император. 24 марта другой указ Чурмантееву: «Арестант после учиненного ему третьего дня посещения легко получить может какие-либо новые мысли и потому новые вранья делать станет. Сего ради повелеваю вам примечание ваше и находящегося с вами офицера Власьева за всеми словами арестанта умножить, и, что услышите или нового приметите, о том со всеми обстоятельствами и немедленно ко мне доносите. Петр. PS. Рапорты ваши имеете отправлять прямо на мое имя».

1 апреля Унгерн опять был допущен к Ивану. 3 апреля заведование делами шлюссельбургского арестанта было взято от гр. Александра Шувалова и поручено Нарышкину, Мельгунову и Волкову вследствие общего распоряжения, по которому все дела, ведавшиеся прежде в Тайной канцелярии, переходили к упомянутым трем лицам. Вместе с тем к узнику были представлены новые офицеры: премьер-майор Жихарев и капитаны Уваров и Батюшков.

Петр писал Фридриху, что держит Ивана под крепкою стражею и потому нечего опасаться; он мог убедиться теперь, что несчастный Иван не может быть опасным соперником и по состоянию своих умственных способностей. То, что прежде известно было очень немногим, сохранявшим глубочайшую тайну, то теперь вследствие свидания Петра при свидетелях должно было распространиться в кругу более обширном, и английский посланник Кейт имел возможность сообщить своему двору совершенно верные известия об Иване Антоновиче. Император, писал Кейт, видел Ивана III и нашел его физически совершенно развитым, но с расстроенными умственными способностями. Речь его была бессвязна и дика. Он говорил, между прочим, что он не тот, за кого его принимают, что государь Иоанн давно уже взят на небо, но он хочет сохранить притязания особы, имя которой он носит.

Поэтому попытка произвести переворот во имя правнука царя Иоанна Алексеевича против внука Петра Великого могла произойти только от людей темных, не имевших соприкосновения с высшими сферами; для другого же рода людей было одно средство: не прерывая наследственной линии, заменить отца сыном – средство, с одной стороны, легкое, ибо сын, великий князь Павел Петрович, был еще ребенок, и потому не могло быть никаких столкновений с его волею, с его сыновними отношениями; но, с другой стороны, малолетство того, в чье имя должно было происходить движение, отнимало вождя у движения, отнимало у этого движения единство, силу, стройность, отнимало твердость у его последствий, ибо надобно было искать другого вождя, из подданных, и как было его найти? Надобно было иметь дело со многими, с партиями. Поэтому естественно и необходимо внимание всех обращалось на императрицу Екатерину, которая уже давно была известна и славна противоположностью своего поведения с поведением мужа, давно была известна и славна своими блестящими способностями, своим обворожительно ласковым обращением, своим вниманием ко всему достойному внимания, своим уважением к русским людям и ко всему, что им было дорого; только от ее влияния на мужа можно было ожидать хорошего, но этого влияния не было; самое близкое лицо явилось самым далеким, супруга была отвергнута, отвергнут был совет и разум; Екатерина подвергалась явным оскорблениям; она страдала вместе с русскими людьми, и крепкий союз образовался между ними и ею. Фридрих II, получавший очень неудовлетворительные известия из Петербурга, думал сначала, что Екатерина будет иметь большое влияние на дела, и только 7 марта прусский министр иностранных дел Финкенштейн писал Гольцу, что, по точнейшим сведениям, Екатерина не имеет никакого влияния и может произойти только вред, если к ней обращаться, притом она вовсе и не так благосклонна к Пруссии, как сам император. Но французский посол Бретейль еще с 31 декабря 1761 года начал писать своему двору о печальном положении Екатерины. «В день поздравления с восшествием на престол, – доносил он, – на лице императрицы была написана глубокая печаль; ясно, что она не будет иметь никакого значения, и я знаю, что она старается вооружиться философиею, но это противно ее характеру. Император удвоил внимание к графине Воронцовой. Надобно признаться, что у него странный вкус: она неумная, что же касается наружности, то трудно себе представить женщину без-

образнее ее: она похожа на трактирную служанку. Императрица находится в самом жестоком положении, с нею обходятся с явным презрением. Она равнодушно переносит обращение императора и высокомерие Воронцовой. Трудно себе представить, чтоб Екатерина (я знаю ее отважность и страстность) рано или поздно не приняла какой-нибудь крайней меры. Я знаю друзей, которые стараются ее успокоить, но, если она потребует, они пожертвуют всем для нее. Императрица приобретает всеобщее расположение. Никто усерднее ее не выполнял обязанностей относительно покойной императрицы, обязанностей, предписываемых греческим исповеданием; духовенство и народ этим очень тронуты и благодарны ей за это. Она наблюдает с точностью праздники, посты, все, к чему император относится легкомысленно и к чему русские равнодушны. Наконец, она не пренебрегает ничем для приобретения всеобщей любви и расположения отдельных лиц. Не в ее природе забыть угрозу императора заключить ее в монастырь, как Петр Великий заключил свою первую жену. Все это вместе с ежедневными унижениями должно страшно волновать женщину с такою сильною природою и должно вырваться при первом удобном случае. Императрица сильно предается горю и мрачным мыслям; люди, ее выдающие, говорят, что она неузнаваема, что она чахнет и скоро сойдет в могилу». Это последнее известие было написано в начале апреля, и в начале июня Бретейль доносил: «Императрица обнаруживает мужество: она любима и уважаема всеми в той же степени, как Петр ненавидим и презираем».

Эта хроника вскрывает нам лучше всего страшное положение Екатерины в шесть месяцев, от 25 декабря 1761 до 28 июня 1762 года; она указывает нам эти переходы от мрачных мыслей к отчаянию, разрушительно действующему на здоровье, и от отчаяния к твердости, когда надежда на избавление усиливалась и когда надобно было ободрять своих приверженцев. Екатерина говорит, что эти приверженцы со дня смерти императрицы Елисаветы внушали ей о необходимости отстранить Петра и самой стать в челе правления, но что она начала склоняться на их представления с того дня, когда Петр публично нанес ей страшное оскорбление. Во время празднования мира с Пруссией за торжественным обедом император предложил три тоста: 1) здоровье императорской фамилии, 2) здоровье короля прусского, 3) за сохранение счастливого мира, заключение которого праздновалось. Когда Екатерина выпила за здоровье императорской фамилии, Петр велел Гудовичу, стоявшему сзади его кресел, пойти спросить императрицу, зачем она не встала, когда пили первый тост, Екатерина отвечала, что императорская фамилия состоит только из троих членов, из ее супруга, сына и ее самой, и потому она не понимает, почему нужно вставать. Когда Гудович передал этот ответ, Петр снова велел ему подойти к Екатерине и сказать ей бранное слово, ибо она должна знать, что двое его дядей, принцы голштинские, принадлежат также к императорской фамилии; но, боясь, чтоб Гудович не ослабил выражения, император сам закричал Екатерине бранное слово, которое и слышала большая часть обедавших. Императрица сначала залилась слезами от такого оскорбления, но потом, желая оправиться, обратилась к стоявшему за ее креслом камергеру Александру Серг. Строганову и попросила его начать какой-нибудь забавный разговор для рассеяния, что Строганов и исполнил.

Но дело не кончилось одним оскорблением. В тот же вечер император приказал своему адъютанту князю Борятинскому арестовать Екатерину. Борятинский, испуганный этим приказанием, не торопился его выполнить и, встретив принца Георгия голштинского, рассказал ему о поручении, полученном от императора. Тот бросился к Петру и уговорил его отменить приказание. Приказание было отменено, но никто не мог поручиться, что оно не будет повторено, ибо приказания отдавались по первой вспышке, по первому внушению, сделанному в пользу или во вред известного лица, и Екатерина начинает слушать предложения своих приверженцев. Кто же были эти приверженцы?

Мы видели, что Шверин и Гольц указывали на Ив. Ив. Шувалова, Мельгунова и Волкова как на самых опасных людей, ждущих первого удобного случая для отнятия у Петра престола.

Но Фридрих II должен был убедиться, как обманулись его министры в своих наблюдениях. «Лица, – пишет он, – на которых смотрели как на заговорщиков, всего менее были виновны в заговоре. Настоящие виновники работали молча и тщательно скрывались от публики». Было, однако, время, когда Ив. Ив. Шувалов предлагал Екатерине свои услуги. В одной из записок о событиях своего времени Екатерина рассказывает, что пред кончиною императрицы Елисаветы Ив. Ив. Шувалов обратился к Никите Ив. Панину, говоря, что «иные клонятся, отказав и выслав из России великого князя Петра с супругою, сделать правление именем сына их Павла Петровича, которому был тогда седьмой год, что другие хотят выслать лишь отца, а оставить мать с сыном и что все единодушно думают, что Петр не способен. Панин отвечал, что все сии проекты суть способы к междоусобной гибели, что в одном критическом часу того переменить без мятежа и бедственных следствий невозможно, что двадцать лет всеми клятвами утверждено. Панин, – продолжает Екатерина, – о сем мне тотчас дал знать, сказав мне притом, что больной императрице если б представили, чтоб мать с сыном оставить, а отца выслать, то большая в том вероятность, что она на то склониться может. Но к сему благодаря Богу ее фавориты не приступили, но, оборотя все мысли свои к собственной безопасности, стали дворовыми вымыслами и происками стараться входить в милости Петра III, в коем отчасти и предупели».

Записка эта, написанная, разумеется, позднее события, может быть и очень поздно, требует некоторого объяснения. Выражение «благодаря Богу» очень понятно: если бы фавориты приступили к удалению Петра Федоровича от престола, то императором был бы провозглашен великий князь Павел Петрович и Екатерина не царствовала бы; кроме того, неспособность Петра не была еще так очевидна, как после шестимесячного его царствования, и удаление его могло бы повести к тому, что выставил в своем ответе Панин. «Фавориты не приступили», потому что Шувалов от Панина услышал решительный отказ в содействии великой княгини и ее приверженцев их плану. Быть может, отказ этот был и неискренний; Панин считал нужным обезопасить себя этим отказом, он мог заподозрить предложение, исходившее от неприязненных ему людей; что Панин не успокоился на своем ответе, доказательством служит то, что он имел с Екатериною разговор о предложении и внушал о возможности со стороны Елисаветы согласиться на удаление Петра. О своем ответе Панину на это внушение Екатерина нам не говорит. Может быть, положено было ждать нового предложения от «фаворитов». Но последнее, получив резкий отказ, не сочли более нужным и безопасным повторять свое предложение, а может быть, не имели уже для того и времени и, отвергнутые Екатериною, должны были обратиться к Петру. Теперь, по прошествии нескольких месяцев, они имели печальное удовольствие видеть, какие страдания должна была терпеть Екатерина за отвергнутые их предложения. Быть может, теперь они ждали от нее предложения. Но дело начато было без них, было и кончено без них.

Шувалов перед смертью Елисаветы обращался к Панину с предложением изменить порядок престолонаследия, и это показывает нам важное значение Панина. В царствование Елисаветы мы имели часто случай говорить о его деятельности в Швеции, где он был посланником. Носились слухи, что он был удален в Швецию вследствие придворной интриги, удален Шуваловыми, которые хотели отстранить в нем соперника Ив. Ив. Шувалову. Если это правда, то, разумеется, здесь должно было залечь основание вражды его к Шуваловым, и преимущественно к Ив. Ивановичу. Но и без этого были другие сильные причины вражды. Тесно связанный с канцлером Бестужевым, будучи, можно сказать, его воспитанником, Панин в довольно долгое пребывание свое в Стокгольме ревностно проводил бестужевскую систему, борясь дипломатически с господствовавшим в Швеции французским влиянием. Панин воспитался, окреп в этой борьбе, ненависть к Франции, необходимость борьбы с нею стали его политическим символом веры. И вдруг ему велят переменить политику, собственно говоря, велят переродиться, действовать заодно с французским посланником. Но мы знаем очень хорошо, что сделать это

русскому посланнику в Стокгольме было страшно тяжело: ему нужно было бросить своих друзей и подчиниться французскому посланнику, который по своим средствам, теперь еще более усилившимся, не хотел и не мог уступить русскому посланнику равного с собою значения. Чем самостоятельнее, сильнее духовными средствами был русский посланник, тем тягостнее становилось ему его положение. Панин не вытерпел, протестовал; но мы видели, какой реприманд получил он за этот протест. Оскорбленный выговором, удрученный своим невыносимым положением, Панин приписывал все эти беды Шуваловым, их обвинял в сближении с Францией. Скоро покровитель его, Бестужев, был свержен, что также Панин приписывал Шуваловым и Воронцову, которого и прежде считал своим врагом. Теперь Воронцов стал заведовать иностранными делами при помощи или, лучше сказать, под влиянием Ив. Ив. Шувалова; Панину не было возможности более оставаться на дипломатическом поприще, и он был отозван из Швеции. Но мы видели, что Елисавета не любила отнимать деятельность у людей, выдававшихся своими способностями и образованностью, и бывший посланник в Швеции получил важное место воспитателя великого князя Павла Петровича. Это новое значение Панина, предполагавшее необходимо большое доверие к нему Елисаветы и в то же время приводившее его в сношения с Екатериною, которая не могла не сочувствовать ему как близкому человеку к А. П. Бестужеву, – это-то значение Панина и заставило Шувалова обратиться к нему по вопросу о возведении на престол великого князя Павла по удалении отца его из России.

Обращение не имело последствий; Петр III вступил на престол и оправдал опасения тех, которые не ждали от его правления ничего хорошего. Панину было тяжело более других. Правда, к Франции последовало сильное охлаждение; но дело шло не о французских отношениях, когда внешнею политикою России заправлял прусский посланник Гольц, а где дело делалось мимо Гольца, так это именно только там, где желания Гольца совпадали с русскими интересами, т.е. в делах датских. Кроме общих для всех русских людей причин к неудовольствию у Панина были особые причины. Он не мог поддерживать своего значения, ибо по своему образу мыслей, по своим привычкам он не мог быть в приближений у Петра III, принимать участия в его забавах; по своей флегматической, жаждущей физического спокойствия природе Панин, более чем кто-либо, не выносил капральства, введенного Петром, за что последний резко обнаруживал против него свое неудовольствие. В донесении Гольца Фридриху II от 30 марта находится любопытное известие относительно Панина: «Е. и. в. с удовольствием соглашается на желание в. в-ства включить Швецию в мирный договор. Он мне сказал по секрету, что пошлет туда Панина, воспитателя великого князя. Это человек очень способный, и потому не может быть сомнения в успехе переговоров». Итак, Панину грозила опасность отправиться в Швецию и хлопотать там, согласно с требованием Пруссии, о восстановлении самодержавия, против чего он, находясь прежде в Швеции, ратовал всеми средствами. Но делать нечего, пришлось бы отправиться и в Швецию, ибо в России он мог потерять свое значение воспитателя великого князя наследника престола: громко говорили, что Петр намерен развестись с женою, заточить ее, намерен отвергнуть и сына. От характера Петра и от следствий образа жизни, который он вел, всего можно было ожидать: раз уже велел он арестовать Екатерину, в другой раз и заступничество принца Георга не поможет. Одинаковость интересов, естественно, сближала Панина с Екатериною, которая могла рассчитывать на его согласие на перемену, могла быть уверена, что при перемене найдет в нем человека, готового служить ей добрым советом, способного помочь ей в трудных обстоятельствах, но этим все и должно было ограничиться: Панин по своему характеру и образу мыслей не мог принять непосредственного участия в движении, направленном к перемене, тем менее мог стать во главе его.

Панин не был в приближении у Петра III; но и между людьми, пользовавшимися особенным расположением императора, Екатерина знала несколько лиц, на которых могла положиться при движении, которые так или иначе заявили ей о своей преданности. Это были генерал-фельдцейхмейстер Вильбуа, генерал-прокурор Глебов, князь Михаил Никитич Вол-

конский, племянник бывшего канцлера Бестужева, уже известный нам на дипломатическом и военном поприще, директор полиции Николай Корф. Одни из этих лиц побуждались патриотизмом, другие, видя, что при всеобщем неудовольствии дело неминуемо должно кончиться дурно для Петра, спешили заранее стать под то знамя, которому принадлежало торжество. Но из тогдашней знати Екатерина более всех должна была надеяться на гетмана графа Кирилла Разумовского, который жил тогда в Петербурге и пользовался, по-видимому, расположением императора. Но это расположение не препятствовало ему питать прежнюю преданность к Екатерине; если она так рассчитывала на эту преданность шесть лет тому назад, то имела основание рассчитывать и теперь. Приближение к Петру не могло повредить этой преданности, ибо мимо всех других побуждений никто из приближенных к этому государю не мог рассчитывать на следующую минуту, и шел слух, что Петру хочется наградить малороссийским гетманством своего любимца Гудовича. Вместе с гетманом Разумовским к услугам Екатерины был и его наставник Теплов, безнравственный, смелый, умный, ловкий, способный хорошо говорить и писать. Ревность Теплова в пользу перемены правления усиливалась еще тем, что он по приказу императора сидел уже в крепости за нескромные слова. Из официального известия об отношениях Теплова к правительству в описываемое время до нас дошел любопытный указ Петра III от 23 марта: «Всемиловнейше пожаловали мы статского советника и нашего голштинского двора камергера Григория Теплова за известную нам его к службе ревность в наши действительные статские советники, которому повелеваем быть в отставке по-прежнему».

Но понятно, что, как бы ни было много людей, желавших перемены, и как бы ни были сильны средства этих людей, они не могли тронуться, начать дело без помощи гвардии. Гвардия была недовольна; но надобно было сосредоточить и направить это неудовольствие, сделать его готовым выразиться при первом удобном случае. Екатерина нашла два орудия, способные действовать в этом смысле, и одним из этих орудий была молодая, осьмнадцатилетняя женщина княгиня Екатерина Романовна Дашкова, урожденная Воронцова, родная сестра фаворитки. Лишившись в младенчестве матери, графиня Екатерина Воронцова была воспитана в доме дяди своего канцлера Михаила Ларионовича. Получивши средства в изучении иностранных языков, преимущественно французского, живая и способная девочка бросилась пользоваться этими средствами, тем более что в окружавших ее не находилось людей, которые бы заняли ее чувство и ум, привлекли к себе. Не находя по себе живых людей, она со всею страстью своей натуры предалась чтению: Бэль, Монтескье, Буало и Вольтер были прочитаны, что повело к рановременному развитию. Эта образованность и страсть к чтению сблизили Екатерину Романовну с другою образованнейшею женщиною в России, такою же усердною читательницею Бэля, Монтескье и Вольтера, – великою княгиней Екатериною Алексеевною. «Многие из друзей моего дяди, – говорит Дашкова, – описали меня великой княгине молодой девушкою, которая посвящала все свое время науке; уважение, которым она удостоила меня впоследствии, очевидно, проистекло из этого пристрастного описания; взаимно великая княгиня внушила мне энтузиазм и преданность, заставившие меня броситься в сферу деятельности, о которой я так мало тогда думала, и имели влияние на всю остальную мою жизнь. Я не побоюсь утверждать, что в то время, о котором говорю, в целой империи было только две женщины, великая княгиня и я, которые занимались серьезным чтением, и так как ее восхитительное обращение производило неотразимое влияние на тех, кому она хотела нравиться, то легко понять, как сильно было это влияние на молодое создание, как я, имевшее едва пятнадцать лет и столь способное подчиниться ему».

Легко понять также, что, насколько великая княгиня производила обаяния над молодою Екатериною Романовною, настолько великий князь отталкивал женщину, начитавшуюся Монтескье и Вольтера. Тщетно он обращался к сестре своей фаворитки с фразою, кем-нибудь ему продиктованною: «Вспомните, что гораздо лучше иметь дело с людьми грубыми, но честными, как ваша сестра и я, чем с умницами, которые высасывают сок апельсина и потом бро-

сают корку». Екатерина Романовна не могла выносить общества и развлечений Петра Федоровича. «Любимое удовольствие великого князя, – говорит она, – состояло в том, чтоб курить табак с голштинцами. Эти офицеры были большею частью капралами и сержантами в прусской службе; это была сволочь, сыновья немецких сапожников. Вечера оканчивались балом и ужином в зале, убранной сосновыми ветками и носившей немецкое название в соответствии вкусу убранства и с фразеологиею, бывшею в моде у компании; компания эта в своих разговорах примешивала столько немецких слов, что необходимо было знание немецкого языка для избежания насмешек от нее. Иногда великий князь давал свои праздники в маленьком загородном доме недалеко от Ораниенбаума: здесь пунш, чай, табак и смешная игра *sampris* служили развлечением. Какой поразительный контраст с духом, вкусом, здравым смыслом и приличием, царствовавшими на праздниках великой княгини!»

В то страшное время, когда все убедились, что Елисавете осталось немного дней жизни, княгиня Дашкова является ночью к Екатерине с вопросом: «Можно ли принять какие-нибудь меры предосторожности против грозящей опасности и отворотить гибель, готовую вас постигнуть? Ради Бога, положитесь на меня, я докажу, что достойна вашего доверия. Составили ли вы какой-нибудь план? Обеспечена ли ваша безопасность? Благоволите дать мне приказания и научить меня, что делать». «Я не составила никакого плана, – отвечала Екатерина, – я ничего не предприиму и думаю, что мне остается одно: мужественно встретить события, какие бы они ни были. Поручаю себя всемогущему и на его покровительство полагаю всю мою надежду».

Новый император скоро усилил беспокойство Дашковой, начавши однажды говорить с нею тихо, отрывочными фразами, из которых, однако, нетрудно было понять, в чем дело; дело шло о том, чтоб удалить *ее*, как выражался Петр, разумея Екатерину, и на ее место возвести *Романовну*, как он обыкновенно называл Елизавету Воронцову. «Будьте к *нам* немножко повнимательнее, – говорил он Дашковой, – придет время, когда вы будете жалеть о том, что с таким пренебрежением обходились с своею сестрою; ваши интересы требуют, чтоб вы изучили мысли своей сестры и старались снискать ее покровительство».

У мужа Дашковой были товарищи, приятели между гвардейскими офицерами, капитаны Преображенского полка Пассек и Бредихин, майор Рославлев и брат его, капитан, оба в Измайловском полку. Все эти молодые офицеры были согласны с княгинею в необходимости произвести перемену в правительстве, и пылкая молодая женщина уже начала смотреть на себя как на главу заговора, долженствовавшего решить судьбу империи. Кроме Рославлевых она познакомилась еще с третьим офицером Измайловского полка, Ласунским, о котором ей сказали, что он имеет влияние на гетмана Разумовского: этого богача и любимца гвардии за щедрость Дашкова хотела привлечь на свою сторону, не зная, что уже опоздала. С Никит. Ив. Паниным она могла сноситься непосредственно, потому что он доводился ей дядя; она заговаривала с ним о необходимости перемены на престоле; Панин иногда соглашался с нею и прибавлял, что недурно было бы также установить правительственную форму на началах шведской монархии; но Дашкова сама признается, что ей нельзя было надеяться вдруг приобрести доверие такого благоразумного и расчетливого политика, как Панин.

Гораздо откровеннее с нею был любимый племянник Панина знаменитый впоследствии князь Николай Васил. Репнин. Однажды после пира в новом Зимнем дворце Репнин является ночью к Дашковой и с отчаянием говорит: «Все погибло, любезная кузина: ваша сестра получила Екатерининский орден, и мне предстоит опасность быть послану к королю прусскому министром, или, лучше сказать, лакеем». Мы видели, что опасения Репнина оправдались: он должен был ехать к Фридриху II.

Дашкова сознается, что когда после тревожного посещения Репнина она серьезно задумалась о своем деле, то все толки об исполнении дела, которые ей приходилось до сих пор слышать от своих соумышленников, показались ей или фантазиями, не могшими осуществиться, или замыслами без определенного принципа, без твердости и без средств к исполнению. Все

были согласны в одном только, что отъезд императора к заграничной армии мог служить сигналом к движению. Видя, что оставалось еще много сделать, а решительное время приближалось, она обратилась к Панину, чтоб добиться от него наконец чего-нибудь определенного. Сцена была любопытная, потому что трудно себе представить большую противоположность, чем та, какая существовала между осторожным, медленным Паниным и его пылкою осьмнадцатилетнею племянницею. Молодая женщина начала с признания, что составлен заговор с целью провозвести революцию. Панин выслушал внимательно и начал настаивать на соблюдении форм при таком событии, на необходимости участия Сената. Дашкова отвечала, что это было бы очень хорошо, да трудно сделать. Потом Панин начал настаивать, и Дашкова должна была ему уступить, чтоб не выставить прав Екатерины на престол, а передать ей только регентство до совершеннолетия сына. Но более всего Панин выражал свое беспокойство насчет дальнейших следствий переворота, насчет возможности междоусобия. «Только начнем действовать, – возразила Дашкова, – и не найдется ни одного человека из ста, который бы не признал причиною события гибельных злоупотреблений, для уничтожения которых нет другого средства, кроме перемены царствующего лица». Наконец Дашкова объявила имена соумышленников: двое Рославлевых, Ласунский, Пассек, Бредихин, Баскаков, Хитрово, князь Борятинский и Орловы. Некоторых из этих соумышленников Дашкова никогда и не видывала; но Панин встревожился, как далеко она зашла без предварительных соглашений с императрицею. Дашкова отвечала, что она не могла сообщить Екатерине своих планов, потому что исход дела был еще сомнителен; такое сообщение могло поставить императрицу в затруднительное положение и подвергнуть бесполезной опасности. Из своего разговора с Паниным Дашкова заметила, что в нем не было недостатка в мужестве и в охоте присоединиться к ним, но его нерешительность происходила от незнания, как они должны были действовать.

Из рассказа Дашковой ясно видно, какого рода был этот заговор, главою которого она себя считала. Она знала о сильном всеобщем неудовольствии, сама близко видела причины этого неудовольствия, сама раздражалась и потому хорошо понимала раздражение других; говорила некоторым молодым офицерам о необходимости произвести перемены в пользу императрицы, способной, по общему убеждению, дать ручательство в лучшем будущем; молодые офицеры совершенно соглашались, называли и некоторых других молодых офицеров, которые также были согласны с ними, говорили, что надобно непременно исполнить замысел, как скоро император уедет к заграничной армии; Дашкова говорила с Паниным, и тот соглашался, что другого средства нет спасти Россию, но как сделать и какие будут последствия? Дашкова постоянно употребляет слово *заговор*, но из ее рассказа прямо выходит, что заговора не было, а был один разговор. Дашковой очень хотелось привлечь гетмана Разумовского в единомыслие, для этого она то подговаривала офицера Ласунского, то внушала Панину, чтоб тот сблизился с Тепловым и посредством последнего действовал на гетмана; но о последствиях этих внушений она ничего не знала. Репнин уехал в Пруссию. По словам Дашковой, было известно, что новгородский архиепископ Димитрий Сеченов разделял ее мысли, хотя и не находился в числе соумышленников, чему препятствовало его высокое положение. Дядя мужа Дашковой князь Михайла Никит. Волконский рассказывал, что и в заграничной армии господствовало всеобщее неудовольствие, солдаты сердились, что их заставляют теперь сражаться против старой союзницы Марии-Терезии, в пользу короля прусского, на которого они привыкли смотреть как на заклятого врага, и для Дашковой было очевидно, что Волконский вполне готов помогать им. Мы не имеем никакого основания отвергать свидетельства Дашковой о собственной деятельности, ибо из них выходит одно, что она хотела перемены в пользу Екатерины и при удобном случае толковала о своем желании с некоторыми людьми, но этим все и ограничивалось. Ее свидетельства очень важны, ибо ей очень хочется преувеличить свою роль, выставить себя главою заговора, но из собственных ее слов выходит, что роль ее была очень невелика.

Иностранные описыватели июньских событий 1762 года преувеличили участие в них Дашковой, точно так же как преувеличили значение Одара, которого деятельность тесно связали с деятельностью Дашковой, не умея, однако, показать, в чем, собственно, состояло участие иностранца, не знавшего по-русски. Одар был родом пиемонтец; канцлер Воронцов определил его в Коммерц-коллегию, но здесь было ему служить неудобно по незнанию русского языка, и Дашкова предложила императрице взять его к себе в секретари, и у иностранных писателей он является в этом значении. Но Дашкова говорит, что Екатерина не взяла Одара в секретари, во-первых, потому, что иностранная переписка ее была очень ограничена, а главное, потому, что, стараясь приобрести расположение русских, не хотела иметь при себе секретарем иностранца, и Одар был сделан управителем одного небольшого имения, принадлежавшего собственно императрице. Дашкова утверждает, что Одар никогда не был ее поверенным, что она редко его видала и вовсе не видала три последние недели перед переворотом. Мы не имеем никакого основания не верить словам Дашковой; но хотя сочинения иностранцев о России и русских событиях обыкновенно преисполнены ошибками, преувеличениями и смешениями всякого рода, однако нет права предполагать, что участия Одара в июньских событиях не было никакого, что оно выдуманно им самим и с его хвастливых слов повторено иностранцами; по всем вероятностям, ловкий Одар был употребляем для сношения Екатерины с преданными ей лицами точно так, как в 1758 году для подобного же дела служил Екатерине итальянец-бриллианщик Бернардни; но Дашковой было неизвестно, что императрица сносится мимо ее с своими приверженцами.

Дашковой были неизвестны непосредственные сношения Екатерины с человеком, который больше всех хлопотал в ее пользу в войске, — с Григор. Григор. Орловым. Артиллерийский офицер Григорий Орлов был воспитанник сухопутного Кадетского корпуса, участвовал в Семилетней войне и резко выдавался из толпы товарищей красотою, силою, молодцеватостью, общительностью; сильная молодая природа (Орлову было в описываемое время 27 лет) требовала сильной деятельности, и Орлов всюду искал ей удовлетворения: и в устройстве веселостей для товарищей, и в масонской ложе, и, наконец, в возбуждении восстания в защиту обожаемой императрицы, которой грозила беда, бывшая бедой и целой России. Кроме Орлова с братьями, по свидетельству самой Екатерины, в конной гвардии двадцатидвухлетний офицер Хитрово и семнадцатилетний унтер-офицер Потемкин «направляли все благоразумно, смело и деятельно».

К концу июня, по словам Екатерины, между соумышленниками в гвардии считалось до сорока офицеров и около 10000 рядовых. В этом числе не оказалось ни одного изменника; соумышленники разделялись на четыре группы, и вожди групп собирались для решений, настоящим же секретом владели трое братьев Орловых. Исполнение замысла отлагалось до отъезда Петра к заграничной армии; но было решено в случае открытия умысла собрать гвардию и провозгласить Екатерину царствующею императрицею.

Как в 1741 году свержение Брауншвейгской фамилии было ускорено приказом гвардии выступить против шведов в Финляндию, так и теперь провозглашение Екатерины было ускорено нежеланием гвардии выступать в поход против датчан. Солдаты волновались, и соумышленники, торопя дело, стали разглашать, что жизнь императрицы в опасности. Император уехал в Ораниенбаум с своею любимую компаниею; императрица жила в Петергофе, куда к 29 июня, к своим имянинам, должен был приехать и Петр. 27 июня волнение в гвардии усилилось, речи, что императрица в опасности, раздавались громче, солдаты кричали, чтоб их вели в Ораниенбаум против голштинцев. К капитану Пассеку, главному в одном из четырех отделов, входит солдат и объявляет, что императрица, наверное, погибла. Пассек отвечает, что все это вздор, но солдат не успокаивается и прямо от него идет к другому офицеру с теми же речами. Этот офицер не принадлежал к числу соумышленников; услышав страшные слова и узнав от солдата, что он был у Пассека и тот отпустил его, офицер арестует солдата и идет к майору

Воейкову донести ему обо всем. Воейков арестует Пассека и посылает донесение императору в Ораниенбаум. Весть об аресте Пассека привела в движение весь Преображенский полк, взволновала соумышленников и в других полках. Решено было отправить Алексея Орлова в Петергоф к императрице и привезти ее в Петербург, а Григорий Орлов с другим братом должны были приготовить все к ее приему. Гетман Разумовский, князь Волконский и Панин знали об этом решении, замечает Екатерина.

Она не упоминает ни слова об участии княгини Дашковой; напротив, она говорит об ней следующее: «Княгиня Дашкова, младшая сестра Елисаветы Воронцовой, хочет присвоить себе честь этой революции, но, не говоря уже о ее родстве, девятнадцатилетний возраст не позволял никому иметь к ней доверия. Она говорила, что все доходило до меня чрез нее: но в продолжение шести месяцев я сносила со всеми главами предприятия, прежде чем она узнала первое слово. Правда, что она очень умна, но ум ее испорчен чудовищным тщеславием и сварливым характером; главы предприятия ее ненавидят, но она была в дружбе с пустыми людьми, которые и рассказывали ей, что знали, т.е. мелочи».

Это свидетельство в сущности справедливо и подтверждается, как мы видели, рассказом самой Дашковой. Но для полноты следовало бы прибавить, что Дашкова во всем этом деле показала необыкновенное усердие и самопожертвование, за что Екатерина сочла своею обязанностью ее отличить и наградить. Екатерина умолчала об этом, позабыв о противоречии, какое произойдет между ее словами и делами. Знаменитая императрица иногда позволяла себе такие умолчания под влиянием раздражения и предубеждения против неприятных ей людей. Минута, в которую она высказала приведенное свидетельство о Дашковой, не принадлежала к числу покойных минут в жизни Екатерины: она была очень раздражена претензиями Дашковой и столкновениями ее в этих претензиях с людьми, принять сторону которых Екатерина имела сильные побуждения. Но выслушаем рассказ Дашковой о событиях 27 июня.

У нее сидел Панин в то время, когда приехал к ней Григорий Орлов с известием об аресте Пассека. Дашкова встревожилась, но Панин с обычным своим хладнокровием начал рассуждать, что Пассек посажен за какой-нибудь беспорядок по службе. Дашкова просила Орлова поехать и осведомиться точнее о причине ареста, и если он арестован за государственное преступление, то чтоб возвратился к ней с подробным известием, а брата своего послал бы с тем же к Панину. После отъезда Орлова Дашкова выпроводила и Панина под предлогом, что хочет успокоиться, а сама, накинув мужской плащ, отправилась пешком к дому Рославлева. Отойдя немного от своего дома, она заметила всадника, быстро мчащегося по направлению к ее дому; как будто кто-то шепнул ей, что это должен быть Алексей Орлов, ибо она не знала никого из братьев, кроме Григорья. Она громко выкрикнула эту фамилию, всадник остановился, подъехал к ней и, когда Дашкова назвала себя, сказал: «Я ехал вас уведомить, что Пассек арестован за государственное преступление, четверо часовых стоят у дверей, по двое у окон. Брат мой отправился сообщить об этом Панину, а я сию минуту был за этим же у Рославлева». Тогда Дашкова стала ему говорить, чтобы он велел Рославлеву и Ласунскому ехать немедленно в свой Измайловский полк для принятия императрицы, когда она въедет в Петербург, а сам или кто-нибудь из его братьев мчался бы в Петергоф и упросил Екатерину от имени ее, Дашковой, сесть тотчас же в карету и ехать в Петербург, где Измайловский полк уже готов принять ее и провозгласить государынею. Дашкова прибавляет, что карета, в которой Екатерина должна была приехать из Петергофа, была выслана с четверкой лошадей по ее же, Дашковой, письму камер-лакеем императрицы Шкуриным. Дашкова распорядилась отправлением кареты, предвидя затруднения, какие могла встретить Екатерина насчет экипажа в Петергофе от людей, вовсе не расположенных помогать ей, и Панин смеялся над этою предосторожностью как лишнею.

Переговорив с Алексеем Орловым на дороге, Дашкова возвратилась домой и в страшном волнении легла в постель, чтоб не возбуждать подозрения в прислуге. Вдруг сильный удар в

дверь с улицы заставил ее затрепетать. Она вскочила с постели и велела впустить, кто бы ни стучался. Вошел неизвестный молодой человек и объявил, что он Федор Орлов. «Я пришел, – сказал он, – спросить, не слишком ли рано ехать брату к императрице, полезно ли ее беспокоить преждевременным призывом в Петербург?» При этих словах Дашкова вышла из себя. «Вы потеряли самое дорогое время, – закричала она, – что тут думать о беспокойстве императрицы! Лучше привезти ее в обмороке в Петербург, чем подвергать заточению в монастырь или возведению на эшафот вместе со всеми нами». Молодой Орлов ушел, уверяя Дашкову, что брат его немедленно поедет в Петергоф.

Можно сказать, что, принимая все это невыдуманным, отчего не допустить догадку, что вожди предприятия, не любя Дашковой и не доверяя сестре фаворитки, внутренне смеялись над распоряжениями Дашковой, когда уже они давно были решены между ними и Екатериной, что Григорий Орлов пришел к ней потому, что искал Панина, что встреча с Алексеем Орловым, возвращавшимся от Рославлева, была случайная, что, наконец, младший Орлов пришел ночью к Дашковой за тем только, чтоб узнать, что делает и думает другая Романовна, не затеяла ли чего-нибудь в пользу близких родственников, а если верна императрице, то не замыслила ли, незваная, непрошенная, вмешаться в дело? Но оставим догадки и обратим внимание на свидетельства неоспоримые: в списке наград за участие в событии 28 июня назначено: «Гетману, князю Волконскому, Панину по 5000 пенсионера» и непосредственно за ними: «Дашковой 12000». Кроме того, от 5 августа сохранилась записка Екатерины: «Выдать княгине Катерине Дашковой за ее ко мне и к отечеству отменные заслуги 24000 рублей».

Екатерина занимала в Петергофе павильон Монплеизир. В шесть часов утра 28 июня она была разбужена Алексеем Орловым, который вошел в ее комнату и сказал совершенно спокойным голосом: «Пора вставать: все готово для вашего провозглашения». «Как? Что?» – спросила Екатерина. «Пассек арестован», – отвечал Орлов. Екатерина более не спрашивала, поспешно оделась кой-как и села в карету, в которой приехал Орлов. Орлов сидел на козлах, у дверец ехал другой офицер, Вас. Ил. Бибилов. За пять верст от Петербурга они встретили Григория Орлова и младшего князя Борятинского, который уступил свой экипаж императрице, потому что ее лошади выбились из сил. Она подъехала прямо к казармам Измайловского полка. Здесь начинают бить тревогу, солдаты выбегают, кидаются к императрице, целуют ее руки, ноги, платье, называют ее своею избавительницею. Двое солдат ведут под руки священника с крестом, и начинается присяга. Дотом просят императрицу сесть опять в карету; священник с крестом идет впереди, отправляются в Семеновский полк. Семеновцы выходят навстречу с криком «ура!». В сопровождении измайловцев и семеновцев Екатерина поехала в Казанский собор, где была встречена архиепископом Димитрием; начался молебен, на эктениях возглашали самодержавную императрицу Екатерину Алексеевну и наследника великого князя Павла Петровича. Из Казанского собора Екатерина отправилась в новоотстроенный Зимний дворец.

Между тем в Преображенском полку, в третьей роте, часу в осьмом увидели скачущего из конной гвардии рейтара, который кричал, чтоб шли к матушке в Зимний каменный дворец (новый). В Измайловском полку был слышен барабанный бой, тревога, и в городе повсюду движение. Солдаты выбежали на плац, прибежали и офицеры, запыхавшись, из них некоторые были совершенно равнодушны, как будто знали о причине тревоги. Так как все офицеры молчали, то солдаты, без всякого от них приказания, заряжая ружья, примчались к полковому двору. На дороге встретился штабс-капитан Нилов, останавливал, но его не послушали и вошли на полковой двор. Тут нашли майора Текутьева: ходил он в задумчивости взад и вперед и не говорил ни слова, его спрашивали, куда прикажет идти, но он ничего не отвечал; рота на несколько минут приостановилась, но увидела, что по Литейной идет гренадерская рота; майор Воейков хотел ее остановить, подъехал верхом с обнаженной шпагой и бранился, гренадеры не слушались; Воейков стал шпагой рубить их по ружьям и шапкам, тогда они крикнули и бросились на него с устремленными штыками, Воейков бросился скакать от них во всю прыть

и, боясь, чтоб не захватили его на Симеоновском мосту, повернул направо и въехал в Фонтанку по грудь лошади; тут только гренадеры отстали от него. Видя это, третья рота двинулась, а остальные роты Преображенского полка бежали по другим мостам, одна за другой, к Зимнему дворцу. Здесь поставили их внутри дворца; а Семеновский и Измайловский полки, пришедшие прежде, окружили дворец и все выходы заставили своими караулами. Вышел архиерей с крестом и привел преображенцев к присяге. По словам Екатерины, преображенцы кричали ей: «Просим прощения в том, что пришли последние: наши офицеры нас задержали, но вот мы привели из них четверых, чтоб показать наше усердие, мы того же хотим, чего и наши братья хотят». Конная гвардия обнаруживала необыкновенную радость. Императрица вспомнила, какую страшную ненависть питала эта гвардия к своему начальнику принцу Георгию, и потому отправила к нему отряд пешей гвардии с просьбою, чтоб принц для избежания беды не выходил из дому. Распоряжение опоздало: толпа конногвардейцев уже побывала у принца, прибила его, разграбила дом.

В новом Зимнем дворце Екатерина нашла в собрании Сенат и Синод. Теплов наскоро составил манифест и форму присяги. В манифесте говорилось: «Всем прямым сынам отечества Российского явно оказалось, какая опасность всему Российскому государству начиналась самым делом, а именно закон наш православный греческий переее всего восчувствовал свое потрясение и истребление своих преданий церковных, так что церковь наша греческая крайне уже подвержена оставалась последней своей опасности переменою древнего в России православия и принятием иноверного закона. Второе, слава российская, возведенная на высокую степень своим победоносным оружием, чрез многое свое кровопролитие заключением нового мира с самым ее злодеем отдана уже действительно в совершенное порабощение, а между тем внутренние порядки, составляющие целость всего нашего отечества, совсем испровержены. Того ради, убеждены будучи всех наших верноподданных таковою опасностью, принуждены были, приняв Бога и его правосудие себе в помощь, а особливо видею к тому желание всех наших верноподданных явное и нелицемерное, вступили на престол наш всероссийский и самодержавный, в чем и все наши верноподданные присягу нам торжественную учинили».

Манифест действительно был составлен наспех (*a la hate*). Дела было очень много. Императрица вышла из нового Зимнего дворца и пешком обошла войска, около него расположенные: здесь было более четырнадцати тысяч как гвардии, так и армии. Потрясающие крики войска и народа приветствовали государыню. Насчет этого войска и петербургских жителей можно было успокоиться; но надобно было распорядиться относительно флота, приморских мест и заграничной армии. Для этих распоряжений императрица удалилась в старый Зимний дворец вместе с сенаторами и Тепловым, который исполнял должность секретаря в этом чрезвычайном совете. В Кронштадт отправлен был с полномочием адмирал Талызин. Вице-адмиралу Полянскому послан был рескрипт – объявить флотским и адмиралтейским воинским людям о восшествии на престол Екатерины, привести их к присяге и до дальнейшего указа никаких военных действий не производить. В заграничную армию послан был указ генерал-поручику Петру Ив. Панину, находившемуся в Кенигсберге, сменить Румянцева в начальстве над померанским корпусом, потому что Румянцева подозревали в приверженности к Петру III; в рескрипте Панину говорилось: «Мы вступили сего числа благополучно на самодержавный престол всероссийский, причем мы, ведая вашу ревность и усердие к нам, жалуем вас полным генералом и повелеваем вам принять корпус, состоящий под командою генерала Румянцева, в свою полную команду, с которым, получа сие, немедленно в Россию возвратиться имеете. А понеже мы намерение имеем заключенный вновь вечный мир с его величеством королем прусским содержать, того ради вы все осторожности принять имеете, дабы его величества землям никаких причин не подавать к озлоблению, а генералу Румянцеву особый указ наш послано сдаче вам команды и возвращении его к нам в Россию». Еще имея причины думать, что войска могут понадобиться в России, желая сохранять поэтому мир с королем прусским, Екате-

рина не могла желать вести вместе с ним войну против Австрии, и потому отправлен был указ Чернышеву: «Намерение наше было и ныне есть все средства употребить к получению общего в Европе мира; но тишина и благосостояние нашего престола требуют того неотменно, чтоб вы немедленно возвратились со всем вашим корпусом в Россию. Ежели же король прусский в том препятствовать начнет, то вы имеете со всем вашим корпусом соединиться с армиею и ближайшим корпусом императрицы-цесаревны римской; что же касается до заключенного в последнее время мира с его величеством королем прусским, то мы нашего императорского величества именем повелеваем его величеству объявить торжественно, что мы оный мир продолжать будем свято и ненарушимо, доколе его величество к разрыву оного, а особливо при нынешнем случае явных к тому видов не подаст». Наконец, к рижскому генерал-губернатору Броуну был послан рескрипт: «Понеже по желанию всех сынов отечества мы вступили благополучно на престол всероссийский, того ради, вам чрез сие всемилостивейше объявляя и уповая на ваше к нам усердие, повелеваем все меры к тому принять, чтоб сие народное желание, с Божиим благословением начатое, споспешествовано было добрым вашим учреждением, и в противном случае все силы и меры употреблять имеете к отвращению какого-либо злого сопротивления, невзирая ни на чье достоинство, и ни от кого, кроме что за нашим подписанием, никаких повелений не принимать».

Но одними распоряжениями на бумаге ограничиться было нельзя; успех этих распоряжений главным образом зависел от решений Петра III: он имел средство во имя своих прав поднять внутреннюю борьбу, мог поспешно удалиться к заграничной армии и найти поддержку у Фридриха II, который «особливо при нынешнем случае мог подать явные виды к разрыву мира», как говорилось в указе Чернышеву. Поэтому решено было предупредить Петра III, и Екатерина в челе преданного ей войска хотела сама выступить к Петергофу. Сенат получил собственноручный указ: «Господа сенаторы! Я теперь выхожу с войском, чтоб утвердить и обнадежить престол, оставляя вам, яко верховному моему правительству, с полною доверенностью под стражу: отечество, народ и сына моего. Графам Скавронскому, Шереметеву, генерал-аншефу Корфу и подполковнику Ушакову присутствовать с войсками, и им, так как и действит. тайному советнику Неплюеву, жить во дворце при моем сыне».

Около 10 часов вечера Екатерина верхом, в гвардейском мундире Преображенского полка, в шляпе, украшенной дубовыми ветвями, из-под которой распущены были длинные красивые волосы, выступила с войском из Петербурга; подле императрицы ехала княгиня Дашкова, также верхом и в Преображенском мундире; но это были старинные мундиры, введенные при Петре Великом и потому славившиеся уже национальными, ибо, как только Екатерина была провозглашена, гвардейцы, как будто по указу, сбросили с себя новые мундиры, введенные Петром III, которые они называли иностранными, разодрали их или продали за бесценок и надели старые. При самом выступлении из Петербурга перед императрицею явился великий канцлер Воронцов с упреками за ее действия; вместо ответа, говорит Екатерина, его повели в церковь давать присягу. Иначе рассказывает Дашкова: по ее словам, Воронцов, видя, что его увещания недействительны, удалился, отказываясь принести присягу. «Будьте уверены, в. в., — сказал он, — что я никогда ни словом, ни делом не буду вредить вашему правлению, и для доказательства искренности моих слов прикажите одному из преданнейших ваших офицеров наблюдать за моим домом, но никогда при жизни императора я не нарушу данной ему присяги». До нас дошло письмо Воронцова Екатерине от того же 28 июня: «Всемилоостивейшая государыня! По неиспытанным судьбам всемогущего угодно было вас на императорский престол возвести, я за первую должность мою почел, припадая к стопам вашего императорского (величества — пропущено), всенижайше просить о милостивом увольнении от настоящего моего чина и пожаловать великодушно освободить меня от всех дел, дабы я мог достальную жизнь мою в тишине и покое препроводить и скончать. Не возмни, всемилост. государыня, чтоб я для каких-либо видов или охоты не имел жизнь мою в службе в. в.-ства окончить, но

единственно призываю всевышнего в свидетельство, что я отнюдь не в состоянии за весьма изнуренным моим здоровьем и, ежедневно разными болезнями одержим будучи, не могу, как бы желал, должность мою исправлять. Равномерное мое прошение было вечно достойной памяти государыне-императрице еще в прошлом году и по вступлении на престол его величества, токмо сея милости получить не удостоился, которую из щедрых рук в. и. в-ства с оказанием сродного твоего милосердия ожидаю и повергаю себя к стопам в. в-ства, с рабским благоговением пребываю в. и. в-ства всеподданнейший раб г. Михаил Воронцов». Из этого письма никак нельзя догадаться, что писавший его отказался принести присягу; притом последнее исключало надобность проситься в отставку: неприсягнувший не мог служить; но Воронцов остался на службе в прежнем канцлерском достоинстве. Приехали из Петергофа князь Никита Трубецкой и граф Александр Шувалов; их также повели к присяге, причем Екатерина прибавляет, что они приехали в Петербург, чтоб убить ее. Но Екатерина так хорошо знала этих людей, их неспособность убивать, что могла сказать подобное только в сильном раздражении.

Воронцов, Трубецкой и Александр Шувалов приехали в Петербург за вестями, а по некоторым известиям, это был для них только предлог, чтоб ускользнуть из Петергофа от Петра. Мы видели, что император жил в Ораниенбауме; с ним были там канцлер Воронцов с братом Романом, фельдмаршал граф Миних, граф Александр Шувалов, князь Никита Трубецкой, вице-канцлер князь Александр Мих. Голицын, прусский посланник Гольц, трое Нарышкиных, Мельгунов, гофмаршал Измайлов, генерал-адъютанты – князь Ив. Фед. Голицын и Гудович, тайный секретарь Волков, тайный кабинетский советник Олсуфьев, старый наставник Штелин и несколько других. Из дам были графиня Елисавета Ром. Воронцова, графиня Анна Карловна Воронцова (жена канцлера) с дочерью графиней Строгановой, графиня Разумовская (жена гетмана), княгиня Трубецкая (жена князя Никиты), графиня Шувалова (жена графа Александра), дочь принца Голштейн-Бек, графиня Брюс, Нарышкины и другие. 28 июня утром, в то самое время, когда Екатерина провозглашалась самодержавною императрицею всероссийскою в Казанском соборе, Петр в Ораниенбауме делал обычный парад голштинским войскам, после чего в 10 часов отправился со своею свитою в шести экипажах в Петергоф. Гудович поехал вперед и вдруг возвращается встревоженный и тихонько рассказывает Петру, что императрицы с раннего утра нет в Петергофе и никто не знает, куда она девалась. Император выходит из себя при этой вести, выскакивает из экипажа и пешком вместе с Гудовичем спешит через сад к павильону Монплеизир, входит туда – нет нигде, лежит только ее бальное платье, приготовленное к завтрашнему празднику. Когда Петр после напрасных розысков выходил из Монплезира, подошло остальное общество. «Не говорил ли я вам, что она на все способна!» – крикнул ему Петр; с его проклятиями смешался бессвязный говор и вопль женщин. Потом в отчаянии бросился он искать Екатерину по всему саду; во время этих поисков подошел к нему крестьянин с запискою от Брессона, которого Петр из камердинеров своих сделал директором гобелиновой мануфактуры, в записке заключалось известие о петербургском перевороте. Тут-то Воронцов, Трубецкой и Шувалов отправляются в Петербург за подробными известиями. В три часа приезжает из Петербурга голштинiec-фейерверкер и рассказывает, что там с утра начались волнения в Преображенском полку. Так как, по слухам, вождем предприятия был гетман Разумовский, то послали за старшим Разумовским, Алексеем, который жил недалеко, в имении своем Гостилицах; старик приехал, но это нисколько не помогло делу. Разумнее была другая мера: отправление адъютанта императорского графа Девьера в Кронштадт для обеспечения за Петром этого важного места на всякий случай. В то время как в Петербурге в старом Зимнем дворце при Екатерине Теплов писал рескрипты и указы, в Петергофе Волков также писал манифесты и указы. Три солдата, отправленные с этими манифестами в Петербург для распространения их в народе, встретили Екатерину по выезде ее из города и отдали ей все бумаги, говоря, что очень рады быть заодно с своею братьею. Петр менял свои намерения: сначала он хотел защищаться в Петергофе и послал за голштинским войском в Ораниенбаум. В 8

часов вечера пришло это войско; но потом взяли верх представления Миниха: защищаться с голштинцами против большого войска Екатерины найдено невозможным, голштинцы отправлены назад в Ораниенбаум и решено плыть в Кронштадт.

В 10 часов вечера Петр со всеми находившимися в Петергофе лицами, мужчинами и женщинами, отправился в Кронштадт на галере и яхте. Но в Кронштадте уже начальствовал Талызин именем императрицы Екатерины II, а Девьер, присланный Петром, сидел под арестом. В первом часу ночи галера и яхта приблизились к Кронштадтскому рейду; но из крепости велено было им удалиться; на извещение, что приехал сам император, отвечали, что в России нет больше императора, а императрица Екатерина II и если суда сейчас же не уйдут, то начнется против них пушечная стрельба. Гудович, подговариваемый Минихом, представлял Петру, что не должно обращать внимания на угрозы: стоит только ему втроем с ними спрыгнуть на берег, в минуту крепость и флот признают его власть. Но испуганный Петр скрылся в нижнюю часть корабля; между женщинами раздавались рыдания и вопли, и суда поплыли назад. Тут Миних приступил с новым планом: с помощью гребцов доплыть до Ревеля, там сесть на военный корабль и отправиться в Померанию. «Вы примете начальство над войском, – говорил Миних, – поведете его в Россию, и я ручаюсь в в-ству, что в шесть недель Петербург и Россия опять будут у ваших ног». Но другие нашли этот план слишком смелым и советовали, возвратясь в Ораниенбаум, войти в переговоры с императрицею; этот совет был принят.

Екатерина, отойдя десять верст от Петербурга, остановилась в Красном Кабачке, чтоб дать несколько часов отдохнуть войску, которое целый день было на ногах. Екатерина вместе с княгиней Дашковой провела эти несколько часов отдыха в маленькой комнате, где была одна грязная постель для обеих. Нервы были слишком возбуждены, и сна не было. Бессонница, однако, не была тяжка: императрица и Дашкова были бодры, сердца их были наполнены веселыми предчувствиями.

В Красном Кабачке настиг войска Никита Ив. Панин и в третьем часу пополуночи написал Сенату: «Имею честь чрез сие уведомить Прав. Сенат, что ее им. в-ство благополучно марш свой продолжает, которую я со всеми полками застал у Красного Кабачка на ростaxe. Впрочем, ревность неописанную и нимало не умалющуюся к намерению предпринятому во всех полках вижу; о сем и удостоверяю». Навстречу этому удостоверению шло донесение Сената, отправленное также в 2 часа. пополуночи: «Государь цесаревич в желаемом здоровьи находится, и в доме ее и. в-ства, потому ж и в городе состоит благополучно, и повеленные учреждения исправны». Повеленные учреждения состояли в том, чтоб не пропускать ни в Петербург, ни из Петербурга ни людей, ни бумаг. Так, секретарь Ямской канцелярии представил Сенату записку, переданную ему старостою ямских слобод, а староста получил ее из Петергофа чрез почтаря; в этой записке за рукою генерала-поручика Овцына заключался приказ в ямские слободы: «Получа сей приказ, выбрав 50 лошадей самых хороших, прислать сюда, в Петергоф, с выборным и явиться на конюшню; а ежели потребует адъютант Костомаров пару лошадей, то дать ему без всякой отговорки». Костомаров был арестован и на допросе отвечал: «Как его Мельгунов и Михайла Львович Измайлов посылали из Ораниенбаума, объявляя именной бывшего императора указ, в Петербург, то приказывали ему, чтоб он в их полках сказал полковникам, дабы они с полками своими следовали в Ораниенбаум».

В пять часов утра Екатерина опять села на лошадь и выступила из Красного Кабачка. В Сергиевской пустыни была другая небольшая остановка. Здесь встретил императрицу вице-канцлер князь Александр Мих. Голицын с письмом от Петра: император предлагал ей разделить с ним власть. Ответа не было. Затем приехал генерал-майор Измайлов и объявил, что император намерен отречься от престола. «После отречения вполне свободного я вам его привезу и таким образом спасу отечество от междоусобной войны», – говорил Измайлов. Императрица поручила ему устроить это дело. Дело было устроено, Петр подписал отречение, составленное Тепловым в такой форме: «В краткое время правительства моего самодержав-

ного Российским государством самым делом узнал я тягость и бремя, силам моим несогласное, чтоб мне не токмо самодержавно, но и каким бы то ни было образом правительство владеть Российским государством, почему и восчувствовал я внутреннюю одного перемену, наклоняющуюся к падению его целости и к приобретению себе вечного чрез то бесславия; того ради, помыслив, я сам в себе беспристрастно и непринужденно чрез сие объявляю не только всему Российскому государству, но и целому свету торжественно, что я от правительства Российском государством на весь век мой отрицаюсь, не желая ни самодержавным, ниже иным каким-либо образом правительства во всю жизнь мою в Российском государстве владеть, ниже одного когда-либо или через какую-либо помощь себе искать, в чем клятву мою чистосердечную пред Богом и всецелым светом приношу нелицемерно. Все сие отрицание написал и подписал моею собственною рукою».

В пять часов утра 29 июня гусарский отряд под начальством поручика Алексея Орлова занял Петергоф; потом стали приходить полки один за другим, располагаясь вокруг дворца. В 11 часов приезжает императрица верхом, в гвардейском мундире, в сопровождении одетой таким же образом княгини Дашковой; раздаются пушечная пальба и восторженные крики войска; в первом часу Григорий Орлов и Измайлов привозят отрекшегося императора вместе с Гудовичем и помещают в дворцовом флигеле, а около вечера Петра отвозят в Ропшу, загородный дворец в 27 верстах от Петергофа. В 9 часов вечера императрица отправилась из Петергофа и на другой день, 30-го числа, имела торжественный въезд в Петербург.

Фридрих II, разговаривая впоследствии с графом Сегюром, который ехал посланником от французского двора в Петербург, сделал такой отзыв о событиях 28—29 июня: «По справедливости, императрице Екатерине нельзя приписать ни чести, ни преступления этой революции: она была молода, слаба, одинока, она была иностранка, накануне развода, заточения. Орловы сделали все; княгиня Дашкова была только хвастливою мухою в повозке. Екатерина не могла еще ничем управлять; она бросилась в объятия тех, которые хотели ее спасти. Их заговор был безрассуден и плохо составлен; отсутствие мужества в Петре III, несмотря на советы храброго Миниха, погубило его: *он позволил свергнуть себя с престола, как ребенок, которого отсылают спать*».

Несмотря на видимую меткость последнего выражения, мы не можем признать справедливости этого приговора. Фридрих не объяснил, каких бы условий он требовал от заговора, хорошо составленного. Мы видим одно, что при всеобщем возбуждении людям энергическим было не трудно достигнуть своей цели. Движение произошло в гвардии, но оказалось немедленно, что Екатерина точно так же опиралась на Сенат и Синод. Средства Петра III были истощены, когда сломлено было сопротивление ничтожного числа офицеров, хотевших удержать полки. Мы не будем утверждать, что Петр III отличался смелостью; но если бы он принял совет Миниха, то есть ли основание утверждать, что в Ревеле и в заграничной армии он не испытал бы такого же приема, как и в Кронштадте?

Как бы то ни было, ликование по поводу восшествия на престол Екатерины усиливалось и тем, что перемена произошла без пролития капли крови; пострадали только винные торговцы. «День (30 июня) был самый красный, жаркий, — рассказывает Державин. — Кабаки, погреба и трактиры для солдат растворены: пошел пир на весь мир; солдаты и солдатки в неистовом восторге и радости носили ушатами вино, водку, пиво, мед, шампанское и всякие другие дорогие вина и лили все вместе без всякого разбору в кадки и бочонки, что у кого случилось. В полночь на другой день с пьянства Измайловский полк, обуяв от гордости и мечтательного своего превозношения, что императрица в него приехала и прежде других им препровождаема была в Зимний дворец, собравшись без сведения командующих, приступив к Летнему дворцу, требовал, чтоб императрица к нему вышла и уверила его персонально, что она здорова; ибо солдаты говорили, что дошел до них слух, что она увезена хитростями прусским королем, которого имя всему российскому народу было ненавистно. Их уверяли дежурные придворные Ив.

Ив. Шувалов и подполковник их граф Разумовский, также и господа Орловы, что государыня почивает, и слава Богу, в вожделенном здравии; но они не верили и непременно желали, чтоб она им показалаась. Государыня принуждена встать, одеться в гвардейский мундир и проводить их до их полка. Поутру (на другой день) издан был манифест, в котором хотя, с одной стороны, похвалено было их усердие, но, с другой – напоминалась воинская дисциплина и чтоб не верили они рассеваемым злонамеренных людей мятежническим слухам, которыми хотят возмутить их и общее спокойствие; в противном случае впредь за непослушание они своим начальникам и всякую подобную дерзость наказаны будут по законам. За всем тем с того самого дня приумножены пикеты, которые в многом числе с заряженными пушками и с зажженными фитилями по всем местам, площадям и перекресткам расставлены были. В таковом военном положении находился Петербург, а особливо вокруг дворца, в котором государыня пребывание свое имела дней с 8».

11 августа 1764 года Сенат слушал челобитную купца Дьяконова о возвращении ему за растащенные у него при благополучном ее и. в-ства на императорский престол восшествии в собственном его доме из погреба виноградные напитки солдатством и другими людьми по цене на 4044 рубля. Приказали: оную челобитную по примеру челобитной купца Медера о таком же растащении виноградных напитков отослать в Камер-контору для рассмотрения. В конце года Камер-коллегия представила о поднесении ее и. в-ству вновь доклада о растащенных при благополучном восшествии ее и. в-ства на престол солдатством и другими людьми с кабаков напитков. Приказали: как уже о том был доклад 763 года июля 9-го, то вновь другого не подавать, а ожидать конфирмации на прежний. Но в июне 1765 года Сенат решил подать доклад о растащенных 28 июня 1762 года из погребов виноградных винах на 24331 рубль, сказать, что цены обозначены верно и что Сенат признает справедливым удовлетворить за растащенное из кабаков простое вино зачетом откупщикам в откупную сумму, а продавцам виноградного вина – в пошлинный сбор.

Глава вторая

Царствование императрицы Екатерины II Алексеевны. 1762 год

Награды участникам в событии 28 июня. – Возвращение графа Бестужева-Рюмина и князя Шаховского. – Торжественное оправдание Бестужева. – Ададуров и Елагин. – Судьба Гудовича, Волкова и Мельгунова. – Положение Ив. Ив. Шувалова. – Воронцовы. – Миних. – Екатерина в Сенате. – Кончина Петра III. – Мысль о монументе Екатерине. – Финансовые меры. – Меры против взяточничества, против монополий. – Крестьянские волнения. – Дело о церковных имениях. – Дело об учреждении Императорского совета. – Приготовления к коронации. – Переписка Теплова с Паниным. – Приезд императрицы в Москву. – Коронация. – Дело Гурьевых и Хруцова. – Забота об улучшении состояния обеих столиц. – Отмена съищиков. – Продолжение крестьянских волнений. – Комиссия о церковных имениях. – Вызов иностранных колонистов. – Старание возвратить русских беглецов. – Окончание дела об Императорском совете. – Общий характер внешней политики России в начале царствования Екатерины II. – Сношения с Пруссией, Даниею, Швециею, Польшею, Курляндиею, Турциею, Австриею, Франциею и Англиею.

Кончились заботы о приобретении власти, начинались более тяжкие заботы о ее сохранении. Нужно было наградить людей, помогших достигнуть власти, – дело тяжелое, ибо каждый ценил свою услугу дорого и ревниво смотрел вокруг, не получил ли кто больше за услугу меньшую; виделись только радостные лица, слышались восторженные клики, а между тем бушевало целое море страстей. Нужно было ценною, удовлетворяющею наградою закрепить старых приверженцев, не возбудить между ними соперничества, не произвести между ними столкновения, не произвести вражды между ними и собственным их делом; нельзя было, по крайней мере вдруг, удалить людей, стоявших наверху в прежнее царствование и не участвовавших в перемене, ибо и они, исключая очень немногих, не были довольны прежним царствованием и не были виновны в том, чем возбуждалось всеобщее неудовольствие; нужно было показать, что никто из людей видных, полезных своею деятельностью не потерял от перемены; нужно было сделать так, чтоб прошлое не напоминало о себе ничем добрым, не высказывалось ни в одной силе, которая бы не осталась неупотребленною и которой не было бы дано лучшее направление в настоящем. В прошлое царствование почти не было опал, потому что наступило спокойно, без переворота; новое царствование должно было показать свое превосходство тем, что не допускало опал, хотя и произошло вследствие переворота; не желалось показать, что были люди, и люди видные, которые враждебны новому царствованию; нельзя было нарушить всеобщности признания нового, всеобщности сочувствия к нему; а между тем естественно рождалось соперничество между людьми, которые считались своими, и между чужими, которые введены были в права своих. Нужно было неусыпными попечениями о делах внутренних показать народу, что Россия действительно избавлена от страшного расстройства, происходившего вследствие отсутствия разумной власти; а в делах внешних нужно было дать народу требуемый мир и в то же время восстановить значение, славу империи, потерю которых порицалось прошлое царствование.

Все видные участники событий 28 июня были щедро награждены повышениями по службе, военные получили вместе и придворные чины; кроме того, награждены населенными имениями, получили одни по 800, другие по 600, иные по 300 душ крестьян; некоторые полу-

чили одновременные денежные награды по 24000, 20000 и 10000 рублей; гетман Разумовский, Никита Ив. Панин и князь Мих. Никит. Волконский получили пожизненные пенсии по 5000 рублей в год. Кн. Дашкова пожалована в *кавалеры* ордена Св. Екатерины и получила денежную награду. Григорий Орлов сделан камергером, Алексей Орлов – секунд-майором Преображенского полка, оба получили Александровские ленты, брат их Федор сделан капитаном Семеновского полка, все трое получили по 800 душ крестьян, Теплов получил 20000 рублей. Богатою наградой указано было на участие в событии 28 июня двоих братьев, ярославских купцов, известных основателей русского театра Федора и Григорья Волковых: они получили дворянство и 700 душ.

Екатерина спешила возвратить двоих опальных прежнего царствования – бывшего канцлера Бестужева-Рюмина и бывшего генерал-прокурора князя Якова Шаховского. В первые дни царствования императрица пользовалась советами преимущественно двух лиц – Никиты Ив. Панина и старого сенатора, племянника Петра Великого, Ив. Ив. Неплюева; ей важно было иметь подле себя еще двоих людей, знаменитых своею опытностью, одного во внешних, другого во внутренних делах, – Бестужева и Шаховского. 1 июля князь Яков, приезжавший из деревни на короткое время в Москву, уже собирался ехать опять в деревню, как вошел к нему пасынок гвардейский офицер Лопухин и с тревожным видом объявил, что встретил на улице две дорожные коляски; сидевший в первой из них гвардейский офицер Колышкин, увидав его, велел остановить лошадей, подбежал к его карете и в восторге сказал ему: «Поздравляю тебя с новою императрицею Екатериною Алексеевною, которая на престол Богом возведена, и я теперь скачу, не останавливаясь, с указом ее в-ства к графу Алексею Петровичу Бестужеву, чтоб он немедленно ехал в Петербург». После этих новостей Шаховской отложил отъезд в деревню и на другой день получил из Сенатской канцелярии экземпляр манифеста о восшествии на престол Екатерины и извещение, что тот же князь Меншиков, который привез в Москву манифест, привез также указ, повелевающий ему, Шаховскому, немедленно ехать в Петербург. Большой колокол на Иване Великом уже гудел. Успенский собор и вся площадь наполнена была разного звания людьми, «которые с радостными восторгами благодарили всемогущего за сию ко всеобщему благополучию соделанную в отечестве нашем перемену». Очутившись вследствие этой перемены опять в Петербурге, Шаховской при первом представлении услышал из уст императрицы самые лестные отзывы о прежней своей службе и желание, чтоб он опять занял, место сенатора. «День от дня оказываемые знаки милости е. и. в., и особливо со мною о многих внутренних делах, к сведению ее потребных, частые разговоры и являемые доверенности ободряли. меня и делали неутомленным», – говорит Шаховской.

В половине июля приехал из Горетова и старый Калхас, давно пророчествовавший и составлявший проекты о том, что теперь совершилось. Бестужев приехал прямо во дворец и был принят императрицею как старый друг. Старик казался очень дряхлым. Никто не сомневался, что он будет иметь большую долю участия в правлении, хотя никто не мог указать место, какое он мог занять; никаких перемен не предвиделось: Воронцов оставался великим канцлером, и Панин по-прежнему считался доверенным лицом императрицы. Екатерина не могла не возвратить Бестужева и считала его полезным советником; старик должен был довольствоваться тем, что к нему обращались за советом в важных случаях, и обращались в самых лестных формах. Екатерина обыкновенно писала ему: «Батюшка Алексей Петрович!» Но канцлерства она ему возвратить не хотела; она хорошо знала упрямство Бестужева в проведении своей любимой, раз принятой системы, в поддержании раз принятых решений. Особенно такой канцлер был неудобен теперь, при запутанности европейской политики, когда и для России должна была выработаться новая система; а главное, такой канцлер был неудобен для Екатерины, которая по своей энергии хотела сама управлять внешнею политикою, причем, разумеется, искала в канцлере собственно секретаря. Воронцов, несмотря на личное нерасположение к нему Екатерины, был очень удобен теперь, вначале, в переходное время, а потом имелся в

виду Панин, который хотя также был человек самолюбивый и пристрастный к своей системе, но по характеру своему, по своей медленности и осторожности он уже был эластичнее, а главное, он был свежее, доступнее новому, с ним было легче сойтись в мыслях, чем с Бестужевым, который в некоторых случаях мог казаться пришельцем из другого мира.

Очень вероятно, что Бестужев мечтал о возвращении канцлерства; но до него стали доходить слухи, что его считают уже слишком дряхлым для этой трудной должности. Но было еще другое важное препятствие для полного восстановления его значения: если бы он подвергся опале при Петре III, то при перемене, вследствие которой все события этого царствования являлись в черном цвете, все опальные того времени само собою являлись невинными и не нуждались в оправдании; но Бестужев подвергся опале при Елисавете, которая оставила по себе такую добрую память между русскими людьми; теперь ее память стала еще дороже для них после шестимесячного царствования ее племянника, и Бестужев чувствовал, что сильно нуждается в оправдании. Любопытно в этом отношении письмо его к племяннику князю Мих. Никит. Волконскому: «Мне просимое оправдание столь нужнейшим есть, что хотя многие от высочайшего ее и. в. милосердия неизреченные милости получил, однако ж бы оно за верх своего благополучия и обрадования при недолговременной своей жизни имел; а инако бы я в прежнем поношении бывшим арестом как преступник остался, к великому оскорблению и печали, которая прежде времени меня в гроб свести легко может; Да и без того уже слышу о себе из зависти за поверенность ее и. в-ства ко мне разные толкования, будто я младенчеству, и никакой памяти не имею, и ни к каким делам не способен. Рассудите, ваше сиятельство: буде я за старостию и слабою памятию к службе неспособным почитаем, то хотя бы другой кто и в половине 70 лет был, но, в гонениях и утеснениях будучи полпята года, притом лишаясь наималейшего сведения о происхождениях и делах в Европе, едва ли возможен понятие и рассуждение об оных явственно и так скоро иметь, как я сюда приехал. Однако ж при всегдашней от Бога помощи в делах мог бы еще несколько и я по своей обыкновенной ревности службу показать, когда б только состояние мое нынешнее поправлено и от поношения избавлено было. А впрочем, я не завидлив, но, по пословице, отдаю тому книги, кто лучше знает, и ничего себе не желаю – ни славы в великой знатности, ни богатства, будучи одною ногою почти во гробе, а только желаю оставить по себе честное имя».

Но именно побуждения, по которым Бестужев так сильно желал оправдания, и затрудняли дело: оправдать Бестужева значило обвинить Елисавету. Желание Бестужева, однако, было исполнено: 31 августа издан был оправдательный манифест, в котором Екатерина говорила: «Граф Бестужев-Рюмин ясно нам открыл, каким коварством и подлогом недоброжелательных доведен он был до сего злополучия, и тем возбудил в нас самих не токмо о нем достойное сожаление, но и крайнее удовольствие, что наше ему освобождение нашлось соответствующее тому правосудию, с которым мы царствовать начали. Паче всего сим подтвердил он нам, что, чем тягчайшее на кого-либо приносится обвинение, тем глубочае и осторожнее прежде в исследовании поступить надлежит, а инако осуждение безвинно быть может; ибо хотя наша вселюбезнейшая тетка, императрица Елисавета Петровна, как нам самим и всему свету известно было, прозорливая, просвещенная и милосердая и притом и правосудная монархиня была, но, кроме сердцевода Бога, никому из смертных в человеческие помышления проникнуть невозможно, и потому несомненно противу воли и намерения ее дело к несчастию его, графа Бестужева-Рюмина, до сего времени обращалось. Итак, в защищение ее имени и добродетелей, с которыми она царствовала милосердно и человеколюбиво, за истинную к ней любовь и почтение, а паче и за долг христианский и монарший мы приняли: его, графа Бестужева-Рюмина, всенародно показать паче прежнего достойным покойной тетки нашей, бывшей его государыни, доверенности и нашей особливой к нему милости, яко сим нашим манифестом исполняем, возвратя ему с прежним старшинством чины генерал-фельдмаршала, действительного тайного советника, сенатора и обоих российских орденов кавалера с пенсионом по 20000

рублей в год». Как-нибудь соблюдено было приличие относительно памяти императрицы Елисаветы; но с каким чувством должны были читать манифест живые люди – Трубецкой, Бутурлин и Александр Шувалов, члены следственной комиссии по делу Бестужева? Воронцов, который считался главным врагом последнего, Ив. Ив. Шувалов, которого считали ответственным за важнейшие явления второй половины елисаветинского царствования? Но эти люди не считали теперь удобным для себя быть очень обидчивыми.

Бестужев требовал и получил торжественное оправдание; но было двое опальных по его делу, двое людей, бывших близкими к Екатерине, – Ададуров и Елагин. Эти не домогались торжественного оправдания, они просто были возвращены и щедро награждены. Ададуров из статских советников был пожалован в тайные, получил место президента Мануфактур-коллегии; полковник Елагин был произведен в действит. статские советники с тем, чтоб ему быть у кабинетных дел императрицы. В письме к Понятовскому Екатерина так упоминает о людях, известных последнему: «Теплов оказал мне большие услуги, Ададуров бредит, Елагин у меня».

Из лиц, близких или считавшихся близкими к бывшему императору, вначале подверглись кратковременному аресту Гудович, Волков и Мельгунов, как видно, из предосторожности, чтоб они не стали действовать в пользу Петра III; точно так сначала боялись Гольца и сильно старались узнать содержание его переписки, даже мелькала мысль захватить бумаги Гольца и сложить вину на солдат; но мысль эта только мелькнула и исчезла. Гудович вышел в отставку и удалился в свою черниговскую деревню. Волкова, как человека даровитого и могшего быть очень полезным, в отставку не пустили, а отправили вице-губернатором в Оренбург, поступили с ним точно так же, как Елисавета поступила с Неплюевым при своем воцарении; но мы увидим, что Волков не останется так долго на среднеазиатской уkraine, как Неплюев: известные оправдательные письма его могли произвести впечатление, особенно когда ничего не было найдено ему в обвинение. Мельгунов был также временно удален на южную Украину. Имя Мельгунова тесно соединялось с именем Ив. Ив. Шувалова. Последнему легко было оправдаться в своих невольных сборах сопровождать Петра III в заграничную армию; он не сделал ни малейшего затруднения в признании нового правительства; но его не любила Екатерина, не любили его люди, к ней близкие: он имел слишком большое значение при Елисавете, большое влияние на судьбу всех, начиная с Екатерины, был слишком крупен, нравственно силен, беспрестанно попадался на глаза и потому сильно мешал. Он имел известность за границу, переписывался с людьми, мнением которых очень дорожили тогда в Европе. Екатерине передали, что Шувалов в письме к Вольтеру неуважительно отозвался о событии 28 июня, приписав его молоденькой женщине Дашковой. Масло было подлито в огонь, задета была самая живая струна, потому что Екатерина приписывала себе направление движения, другие были только орудиями; сильное раздражение ее против Шувалова высказалось в чрезвычайно резких выражениях. Шувалов нашелся в самом неприятном положении, из которого чрез несколько времени мог выйти только отъездом за границу.

Кратковременному удалению должна была подвергнуться графиня Елисавета Романовна Воронцова по тому значению, какое она имела в бывшее царствование. 29 июня она возвратилась в дом к отцу своему, который, по словам другой своей дочери, княгини Дашковой, вовсе не рад был этому возвращению, во-первых, потому, что никогда очень не любил Елисаветы, а во-вторых, потому, что Елисавета, будучи *во времени*, не подчинялась его влиянию в той степени, в какой бы он хотел. До нас дошла записка Екатерины Елагину насчет Елисаветы Воронцовой: «Перфильевич, сказывал ли ты кому из Лизаветиных родственников, чтоб она во дворец не размахнулась, а то боюсь, к общему соблазну, завтра прилетит». Для предотвращения этого соблазна Елисавету отправили в отцовскую подмосковную, а после коронации, когда двор уехал из Москвы, Елисавета поселилась в этом городе, где и жила до своего выхода замуж за бригадира Полянского, после чего переехала в Петербург. На Елисавету сердились родственники за то, что при Петре III она ничего для них не сделала; теперь сердились за то же

на Екатерину Романовну (Дашкову). Канцлер Воронцов в августе писал в Лондон племяннику своему графу Александру Романовичу: «О сестре вашей княгине Дашковой уведомить имею, что мы от нее столько же ласковости и пользы имеем, как и от Елисаветы Романовны, и только что под именем ближнего свойства слышем, а никакой искренности, ни откровенности и еще менее какого-либо вспомоществования или надежды, чтоб в пользу нашу старания прилагала, отнюдь не имеем; и она, сколько мне кажется, имеет нрав развращенный и тщеславный, больше в суетах и мнимом высоком разуме, в науках и пустоте время свое проводит. Я опасаюсь, чтоб она капризами своими и неумеренным поведением и отзывами столько не прогневала государыню императрицу, чтоб от двора отдалена не была, а чрез то наша фамилия в ее падении напрасного порока от публики не имела. Правда, она имела многое участие в благополучном восшествии на престол всемилостивейшей нашей государыни, и в том мы ее должны весьма прославлять и почитать; да когда поведение и добродетели не соответствуют заслугам, то не иное что последовать имеет, как презрение и уничтожение. Я истинно на нее сердца или досады не имею и желаю ей иметь всякое благополучие, только индифферентность ее к нам чувствительна и по свойству несносна, тем более что от благополучия ее не имеем пользы, а от падения ее можем претерпеть напрасное неудовольствие. Вы, сие зная, должны иметь в переписке с нею всякую осторожность. Что же касается до мужа ее, то он нам непременно прежнюю ласковость и учтивость оказывает и ведет себя скромно и разумно. Господин Одар имел также участие в счастливой перемене и, как весьма разумный человек, поведение свое осторожно имеет и к нам преданность и благодарность свою оказывает. Он получил позволение отъехать в Италию для привезения сюды своей фамилии, уже с месяц времени как отъехал, поныне он не получил еще награждения, как токмо 1000 рублей для проезду своего».

Граф Александр Романович, узнав о возвышении одной сестры и о падении другой, стал в своих письмах осыпать упреками первую, зачем не помогает второй. «По всем известиям из Петербурга, – писал он Дашковой, – ее и. в-ство оказывает вам великие милости, и потому я не могу оправдать вашего равнодушия к судьбе нашей сестры Елисаветы, я не знаю даже, что с нею сделалось. За ваши заслуги вы должны были бы просить одной награды – помилования сестры и предпочесть эту награду Екатерининской ленте; вы бы тогда не изменили проповедуемым вами философским убеждениям, которые заставляли меня думать, что вы равнодушны к величию человеческому». Граф Александр прямо обратился к императрице с просьбою о милости к сестре и получил ответ: «Вы не ошиблись, веря, что я не изменилась относительно вас. Я с удовольствием читаю ваши донесения и надеюсь, что вы будете продолжать вести себя так же похвально. Вы должны успокоиться насчет судьбы вашего семейства, о котором я видела все ваше беспокойство. Я улучшу положение вашей сестры как можно скорее».

Но эта возможность представилась не скоро, и нетерпеливый граф Александр не переставал колоть Дашкову в своих письмах. Он колот ее дошедшими до него слухами, будто она отобрала у сестры все ей принадлежавшее и даже не дала ей самых необходимых вещей при отправлении в деревню. Граф Александр писал, что не только родственная привязанность, но и благодарность заставляет его заступаться за сестру Елисавету. Дашкова хотела его поймать на этом и, отвергая слухи о завладении сестриными вещами, писала, что она не позволила бы себе так поступить с сестрою, которую любит искренне. «Вы, конечно, знаете, – писала она, – что я ничем не обязана ни ей, ни кому-либо из моей родни; я ее люблю и забочусь о ней искренне, не будучи принуждаема к тому благодарностию, поэтому чувства мои проистекают из источника более чистого». Граф Александр еще больше рассердился: в ответе своем он с злою ирониею повторял известия о более чем человеколюбивом способе, какой употребила Дашкова для утешения своей несчастной сестры, писал, что такой способ утешения будет служить памятником ее бескорыстия в потомстве, что этот поступок ее будут приводить в назидание. «Вы благодарно поступаете, – писал он, – желая уменьшить достоинство благодарности, потому что не имеете этого чувства в значительном количестве, и, чтоб совершенно от него освободиться,

говорите, что ничем не обязаны всей своей родне. Позвольте напомнить вам, что вы ошибаетесь. Во-первых, вы обязаны своей сестре тем, что муж ваш был послан в Константинополь, и множеством других мелких услуг; она по вашему желанию удержала отправление ваше в Москву и предложила вам дом, ей тогда подаренный. Относительно отца нашего я не распространяюсь об обязанностях, которые вы к нему имеете. Всем известны также заботы дяди и тетки о вашем воспитании и об устройстве вашей судьбы».

Императрица, разумеется, не сочла позволительным для себя не быть великодушною относительно человека с европейскою известностию, Миниха, безопасного по своей старости и иностранству, делавшему его одиноким; притом старик мог еще быть полезен. При Петре III Миних просил или сделать его сибирским губернатором по знанию тамошних обстоятельств, или поручить ему главную дирекцию над Ладожским каналом. При Петре он не получил ни того ни другого; при Екатерине он сделан генерал-директором над портом Балтийским, портом Нарвским, над Кронштадтским и Ладожским каналами и над Волховскими порогами. Люди, содействовавшие перемене, были награждены; противники были прощены или наказаны очень легко сравнительно с наказаниями, сопровождавшими прежние перемены; оставалось деятельностью неумолимою и серьезною показать противоположность нового правления с прежним.

Между бумагами Екатерины II находится собственноручная ее записка на французском языке; в этой записке говорится, что на пятый или на шестой день по своем восшествии на престол императрица присутствовала в Сенате, которому приказала собираться в Летнем дворце, чтоб ускорить течение дел. Сенат начал с представления о крайнем недостатке в деньгах; представил также, что цена хлеба в Петербурге поднялась вдвое против прежнего. На первое Екатерина отвечала, что употребит на государственные нужды собственные комнатные деньги, что, «принадлежа сама государству, она считает и все принадлежащее ей собственностью государства, и на будущее время не будет никакого различия между интересом государственным и ее собственным». Сенаторы встали и со слезами на глазах благодарили императрицу за такие чувства. Екатерина велела выдать из комнатных денег, сколько было нужно на государственные потребности. Для понижения же цен на хлеб в Петербурге она запретила временно вывоз хлеба за границу, что в два месяца произвело дешевизну всех припасов. Потом на очереди было дело о позволении евреям въезжать в Россию, и это дело привело императрицу в большое затруднение. «Не прошло еще осьми дней, – думала она, – как я вступила на престол и была возведена на него для защиты православной веры; я имею дело с народом религиозным, с духовенством, которому нечем жить вследствие отобрания имений, меры необдуманной; умы в сильном волнении, как обыкновенно бывает после такого важного события; начать царствование указом о свободном въезде евреев было бы плохим средством к успокоению умов; признать же свободный въезд евреев вредным было невозможно». Из этого затруднения вывел Екатерину сенатор князь Одоевский, который встал и сказал ей: «Не угодно ли будет в. в. ству прежде решения дела взглянуть, что императрица Елисавета собственноручно написала на полях подобного же доклада». Екатерина велела принести дело и прочла: «От врагов Христовых не желаю корыстной прибыли». Прочитавши, Екатерина обратилась к генерал-прокурору Глебову и сказала ему: «Я желаю, чтоб это дело было отложено».

В журналах и протоколах Сената мы не найдем тех известий и подробностей, какие находим в записке Екатерины. Из них видим, что со дня вступления на престол до 1 сентября, когда императрица отправилась в Москву для коронации, она присутствовала в Сенате 15 раз. В первый раз ее присутствие записано 1 июля. В это заседание Сенат доложил императрице, что 27 июня получен им был указ бывшего императора о построении к будущей кампании 1763 года девяти или по крайней мере шести кораблей и о забрании для того всех лесов, чьи бы то ни были; Сенат представил, что от этого произойдет обывателям разорение; для такого чрезвычайного строения и особенно вооружения денег и людей нет, да и нужды в таком строении не признается. Екатерина не велела исполнять этот указ, равно как и другие: указ 27 же июня,

чтоб не делать отсрочек платежам в банки, и указ 24 мая об учреждении банковых билетов. На другой день, 2 июля, Екатерина также присутствовала в Сенате и отменила все нововведения, сделанные в полках в царствование Петра III; 4 июля вышло распоряжение, чтоб гетман малороссийский граф Разумовский имел в команде все пехотные полки, около Петербурга расположенные, и гарнизоны Петербургский и Выборгский, а графу Бутурлину иметь команду над полками кавалерийскими, около Петербурга стоящими.

6 июля Екатерина вошла в Сенат в начале одиннадцатого часа и объявила подписанный ею манифест с обстоятельным описанием своего восшествия на престол. «Отечество вострепело, – говорилось в манифесте, – видя над собою государя и властителя, который всем своим страстям прежде повиновение рабское учинил и с такими качествами воцарился, нежели о благе вверенного себе государства помышлять начал». Следуют обвинения Петра III в том, что он неприлично вел себя при гробе покойной императрицы: «Радостными глазами на гроб ее взирал, отзываясь притом неблагодарными к телу ее словами». Потом «коснулся перво всего древнее православие в народе искоренять своим самовластием, оставив своею персоною церковь Божию и моление, так что когда добросовестные из его подданных, видя его иконам непоклонение и к церковным обрядам презрение или паче ругательство, приходя в соблазн, дерзнули ему о том напоянуть с подобострастием в осторожность, то едва могли избегнуть тех следствий, которые от самовольного, необузданного и никакому человеческому суду не подлежащего властителя произойти бы могли. Потом начал помышлять о разорении и самих церквей и уже некоторые и повелел было разорить самым делом; а тем, которые по теплоте и молитве к Богу за слабым иногда здоровьем не могли от дому своего отлучаться, вовсе закон предписал никогда церквей Божиих в домех не иметь. Презрел он и законы естественные и гражданские: ибо, имея он единого Богом дарованного нам сына, при самом вступлении на престол не восхотел объявить его наследником престола, оставляя самовольству своему предмет, который он в погубление нам и сыну нашему в сердце своем положил, и вознамерился или вовсе право, ему преданное от тетки своей, испровергнуть, или отечество в чужие руки отдать, забыв правило естественное, что никто большего права другому дать не может, как то, которое сам получил. Законы в государстве все пренебрег, судебные места и дела презрел и вовсе об них слышать не хотел, доходы государственные расточать начал вредными государству издержками; из войны кровопролитной начинал другую безвременную и государству Российскому крайне бесполезную, возненавидел полки гвардии, освященным его предкам верно всегда служившие, превращать их начал в обряды неудобноносимые. Армию всю раздробил такими новыми законами, что будто бы не единого государя войско то было, но чтоб каждый в поле удобнее своего поборника губил, дав полкам иностранные, а иногда и развращенные виды, а не те, которые в ней единообразием составляют единомушие». Относительно отречения Петра III в манифесте сообщены некоторые подробности: «Он два письма одно за другим к нам прислал: первое чрез вице-канцлера нашего кн. Голицына, в котором просил, чтоб мы его отпустили в отечество его Голстинию, а другое чрез генерал-майора Мих. Измайлова, в котором сам добровольно вызвался, что он от короны отрицается и царствовать в России более не желает, где притом упрасивает нас, чтоб мы его отпустили с Лизаветою Воронцовою да с Гудовичем также в Голстинию. И как то, так и другое письмо, наполненные ласкательствами, присланы были несколько часов после того, что он повеление давал действительно нас убить, о чем нам те самые заподлинно донесли с истинным удостоверением, кому сие злодейство противу живота нашего препоручено было делом самим исполнить». Манифест оканчивался обещанием: «Наше искреннее и нелицемерное желание есть прямым делом доказать, сколь мы хотим быть достойны любви нашего народа, для которого признаваем себя быть возведенными на престол: то таким же образом здесь наиторжественнейше обещаем нашим императорским словом узаконить такие государственные установления, по которым бы правительство любезного нашего отечества в своей силе и принадлежащих границах течение свое имело так, чтоб и в потомки каждое госу-

дарственное место имело свои пределы и законы к соблюдению доброго во всем порядка, и тем уповаем предохранить целостность империи и нашей самодержавной власти, бывшим несчастьем несколько испроверженную, а прямых верноусердствующих своему отечеству вывести из уныния и оскорбления». По прочтении этого манифеста императрица «изволила Прав. Сенату отдать в конверте бывшего императора Петра III своеручное и за подписанием его об отрицании от правительства Российским государством удостоверение в оригинале, повелевая оное, прочтя и запечатав всем сенаторам своими печатями, хранить в Сенате, которое тогда ж в собрании Прав. Сената читано и гг. сенаторами запечатано».

Но того же 6 июля случилось событие, которое потребовало нового манифеста: пришло известие о смерти бывшего императора в Ропше, смерти насильственной. «Я нашла императрицу, – говорит Дашкова, – в совершенном отчаянии; видно было, под влиянием каких тяжких дум она находилась. Вот что она мне сказала: „Эта смерть наводит на меня невыразимый ужас; этот удар меня сокрушает“». 7 июля был издан манифест: «В седьмой день после принятия нашего престола всероссийского получили мы известие, что бывший император Петр III обыкновенным, прежде часто случавшимся ему припадком геморроидическим впал в прежестоковую колику. Чего ради, не презирая долгу нашего христианского и заповеди святой, которою мы одолжены к соблюдению жизни ближнего своего, тотчас повелели отправить к нему все, что потребно было к предупреждению следств из того приключения, опасных в здравии его и к скорому вспоможению врачеванием. Но, к крайнему нашему прискорбию и смущению сердца, вчерашнего вечера получили мы другое, что он волею всевышнего Бога скончался. Чего ради мы повелели тело его привезти в монастырь Невский для погребения в том же монастыре, а между тем всех верноподданных возбуждаем и увещеваем нашим императорским и матерним словом, дабы без злопамятствия всего прошедшего с телом его последнее учинили прощание и о спасении души его усердные к Богу приносили молитвы. Сие же бы нечаянное в смерти его Божие определение принимали за промысл его божественный, который он судьбами своими неисповедимыми нам, престолу нашему и всему отечеству строит путем, его только святой воле известным».

На другой день после издания этого манифеста, 8 июля, в собрании Сената встал и начал говорить сенатор Никита Ив. Панин: «Известно мне, что ее и. в-ство намерение положить соизволила шествовать к погребению императора Петра III в Невский монастырь; но как великодушное ее в-ства и непамятозлобивое сердце наполнено надмерною о сем приключении горестию и крайним соболезнованием о столь скорой и нечаянной смерти бывшего императора, так что с самого получения сей нечаянной ведомости ее в-ство в непрерывном соболезновании и слезах о таковом приключении находится; то хотя я, почитая за необходимый долг, обще с г. гетманом графом К. Г. Разумовским и представляли, чтоб ее в-ство, сохраняя свое здравие, по любви своей к Российскому отечеству для всех истинных ее верноподданных и для многих неприятных следств изволила б намерение свое отложить; но ее в-ство на то благоволения своего оказать не соизволила, и потому я за должное признал потом Прав. Сенату объявить, дабы весь Сенат по своему усердию к ее в-ству о том с рабским своим прошением предстал». «Сенат, уважа все учиненные г. сенатором Паниным справедливые изъяснения, тотчас пошел во внутренние ее в-ства покои и раболепнейше просил, дабы ее в-ство шествие свое в Невский монастырь отложить соизволила, и хотя ее в-ство долго к тому согласия своего и не оказывала, но напоследок, видя неотступное всего Сената рабское и всеусерднейшее прошение, намерение свое отложить благоволила». Петр III был погребен в Александро-Невском монастыре.

Неизвестно, по чьему внушению Сенат нашел нужным показать новый знак своего усердия к Екатерине и своего сочувствия к делу 28 июня. 17 июля был призван в Сенат генерал-поручик Бецкий и услышал такое предложение: «Так как ее и. в-ство принятием императорского престола толико излила всем ее верноподданным матерних щедрот, что оные до поздних времен в сердцах искренних сынов отечества в незабвенной памяти остаться должен-

ствуют, то Сенат за рабскую должность признает в бессмертную ее и. в-ства славу сделать монумент, к чему вы по вашему довольному к подобным знаниям искусству избраны, и потому Сенат на ваше рассуждение предает, какой вы заприличнее столь славным делам ее и. в-ства монумент сделать найдете, о том бы Сенату свое мнение с планами статуям, обелискам и медалям подали». Бецкий отвечал, что он «поручение ему столь великого дела признает за особенное для себя счастье, и хотя он к исполнению того находит себя недостаточным, однако ж по долговременной своей бытности в чужих краях и получа там знакомство со многими учеными и искусными людьми надеется с помощью их сие к удовольствию Прав. Сената исполнить».

Но среди этих движений, порожденных событиями 28 июня и 6 июля, в Сенате шла сильная деятельность, показывавшая, что новое правительство хочет сдержать свои обещания. 3 июля, присутствуя в Сенате, императрица приказала сбавить с соли по гривне с пуда, и Сенат должен был стараться как можно скорее отыскать средства сбавить еще больше. Сбавка гривны составляла 612021 рубль; надобно было их заменить в доходе, и 12 июля состоялся именной указ брать из миллионной комнатной суммы, вносимой к императрице из соляного же сбора, по 300000 рублей в год, а остальные брать из передела медных денег. Этим указом объясняются слова Екатерины о пожертвованиях для государства из комнатной суммы. 23 июля Сенат получил указ: «Понеже в бывшее пред сим правительство государственная казна истощена, излишних расходов приумножено, от чего неисчислимы приключаются в государстве неполезности, и для того надлежит Прав. Сенату стараться: 1) розданные из казны займы деньги взыскать; 2) бывшие засеки и где есть порожние, а дворянам надобные земли продать, чрез что многим помещикам в размножении экономии прибавятся способы, а казне при нынешних недостатках к исправлению государственных надобностей спомоществование; 3) военные и гражданские штаты рассмотреть и, что к полезнейшему тех впредь состоянию потребно, представить ее и. в-ству; 4) тщиться, чтоб в коллегиях и канцеляриях судейские места достойными наполняемы были, и чтобы справедливая служба награжденной была, и малоимущие не имели причин к лихоимству склоняться, назначить каждому пристойное жалованье, изыскав на то деньги не вновь налагаемыми с народа сборами, но другими благопристойнейшими способами, и подать ее и. в-ству немедленно; 5) потщиться к пресечению ябеднических происков и к скорейшему обидимых удовольствию сыскать пристойные способы».

Относительно лихоимства Екатерина в сильнейших выражениях повторила указ Елисаветы 16 августа 1760 года, причем прямо указала на вынесенное из древней России зло и на привычку смотреть на службу как на кормление. «Мы уже от давнего времени слышали довольно, – говорит именной указ 18 июля, – а ныне и делом самым увидели, до какой степени в государстве нашем лихоимство возросло: ищет ли кто места – платит; защищается ли кто от клеветы – обороняется деньгами; клеветает ли на кого кто – все происки свои хитрые подкрепляет дарами. Напротив того: многие судящие освященное свое место, в котором они именем нашим должны показывать правосудие, в торжище превращают, вменяя себе вверенное от нас звание судии бескорыстного и нелицеприятного за пожалованный будто им доход в поправление дома своего, а не за службу, приносимую Богу, нам и отечеству, и мздоприимством богомерзким претворяют клевету в праведный донос, разорение государственных доходов в прибыль государственную, а иногда нищего делают богатым, а богатого нищим. Таковым примерам, которые вкоренились от единого бесстрашия а важнейших местах, последуют наипаче в отдаленных находящиеся и самые малые судьи, управители и разные к досмотрам приставленные командиры и берут с бедных самых людей не токмо за дела беззаконные, делая привязки по силе будто указов, но и за такие, которые не иначе как нашего благоволения достойны, так что сердце наше содрогнулося, когда мы услышали от нашего лейб-кирасирского вице-полковника князя Михаила Дашкова, что Новгородской губернской канцелярии регистратор Яков Ренбер, приводя ныне к присяге нам в верности бедных людей, брал и за то с каждого себе деньги, кто присягал, которого Ренбера мы и повелели сослать на вечное житье в Сибирь

на работу, и никто, обвиненный в лихоимстве, яко прогневающий Бога, не избежит и нашего гнева, так как мы милость и суд Богу и народу обещали».

В упомянутой записке своей Екатерина жалуется, что до нее «почти все отрасли торговли были отданы частным людям в монополию». Поэтому с самого же начала мы должны ожидать распоряжений, направленных против монополий. 31 июля издан был указ о торговле; принятые в ее пользу меры были следующие: 1) хлебом торг производить из всех портов с половинною пошлиною против той, которая собирается в Риге, Ревеле и Пернау; но возобновляется постановление Петра Великого, что хлеб отпускается за границу только тогда, когда он дешевле внутри России; 2) из всех портов отпускать соленое мясо и самую скотину с теми же условиями; 3) порт Архангельский снабдить всеми теми выгодами, какими пользуется Петербургский, лишнюю пошлину отставить, да и генерально все порты и таможи такими сделать, чтоб все то привозимо и отпускаемо быть могло, что сюда (в Петербург) привозится и отсюда отпускается; 4) ревеню быть в вольной торговле; 5) поташ и смольчуг оставить казенным товаром для сбережения лесов, по мысли Петра Великого; 6) смолу отдать в вольную торговлю; 7) узкий холст и хрящ вольно вывозить за границу; 8) льняную пряжу за границу не выпускать; 9) выписывание шелку и выпуск бобров сделать вольным, отняв у Шемякина привилегию; 10) китайскую торговлю сделать вольною; 11) тюленьи и рыбные откупа уничтожить; 12) табачный откуп уничтожить. Чрез несколько дней велено было взять у Шемякина и таможенный откуп, который он держал с 1758 года, платя в казну два миллиона ежегодно; откуп отнимали за беспорядочное правление и нарушение контракта.

Сенат, исполнив поручение, возложенное на него 3 июля, представил, что с соли можно еще сбавить гривну и продавать ее во всей России по 30 коп. пуд, в Астрахани и Красном Яру, где производилась обширная солка рыбы, – по 10 коп., в Архангельске одним рыбным промышленникам – по 15 коп. Так как элтонская соль в провозе до Нижнего становится казне дорого, притом черна и не очень хорошего качества, а есть лучше ее, соль илецкая, то стараться вместо элтонской ставить илецкую; продавать соль из казны, но позволить и вольную торговлю, продавая вольным торговцам из магазинов также по 30 коп.; нечего бояться, что они станут продавать соль дорого, обвешивать, мешать с песком и сором, потому что покупатели, заметив это, станут брать соль из казны. Вследствие сбавки другой гривны убудет из дохода 604027 рублей в год, и для пополнения этого недостатка Сенат думал наложить: 1) Во всем государстве на продаваемое из кабаков горячее вино по 30 коп., на пиво и мед – по 5 коп. на ведро. Этих прибавочных денег от вина по сложности с 1760 и 1761 год должно быть 352565 рублей, от пива и меду – 182559 рублей, итого 635122 рубля; установить этот налог можно, потому что в кабаках напиткам продажа вольная и народного отягощения не производящая. 2) С явки пив и полпив вместо прежних 5 коп. брать с четверти хлеба по 20 коп. 3) Отдать герберги (гостиницы) на откуп, кто больше даст. 4) Позволить брать соль по продажной цене из казны и отвозить за границу. 5) Со всех протестованных векселей брать в казну по два процента.

Еще не исполнено было приказание покойной императрицы Елисаветы о вспоможении купцам, сильно пострадавшим от пожара 29 июня 1761 года, когда сгорели пеньковые и другие амбары. Екатерина потребовала от Сената, чтоб поднесен ей был доклад об этом деле. Сенат отвечал, что 21 марта бывшим императором утверждено было выдать купцам половину той суммы, которую они потеряли от пожара, из Медного банка на 10 лет без процентов; но эта выдача до сих пор не сделана, потому что из Медного банка назначено взять деньги на самые нужные расходы, да и вперед нельзя надеяться, чтоб можно было взять из Медного банка такую большую сумму, и потому Сенат возвращается к докладу, заготовленному для покойной императрицы Елисаветы, но не подтвержденному по случаю ее смерти; доклад состоял в том, чтоб зачесть купцам половину потерянной ими суммы в пошлину с их товаров при Петербургском порте в продолжение пяти лет. Императрица утвердила этот доклад; а для предотвращения

подобного несчастья приказала Сенату составить планы каменных амбаров; если же Сенат не выщет суммы, нужной для этой постройки, то она даст ее от себя взаймы.

Описывая печальное состояние империи во время своего вступления на престол, Екатерина говорит: «Заводские и монастырские крестьяне почти все были в явном непослушании властей, и к ним начали присоединяться местами и помещичьи. Заводских крестьян непослушание унимали посланные генерал-майоры: Александр Алексеевич Вяземский и Александр Ильич Бибилов, рассмотря на месте жалобы на заводсодержателей; но не однажды принуждены были употребить против них оружие и даже до пушек, и не унялось восстание сих людей, дондеже Гороблагодатские заводы за двухмиллионный казне долг графа Петра Ив. Шувалова возвращены в казенное управление, также воронцовские, чернышевские, ягужинские и некоторые другие заводы по таковым же причинам паки в казенное поступили ведомство. Весь вред сей произошел от самовластной раздачи Сенатом заводов сих с приписными к оным крестьянами. Сии заводские беспокойства пресеклись не прежде 1779 года манифестом моим о работах заводских крестьян». Здесь, разумеется, мы должны принять что-нибудь одно: или волнение заводских крестьян прекратилось вследствие передачи заводов от частных людей в казну, или вследствие манифеста о рабочих. Если принять последнее, то нельзя будет приписать всего зла тому, что Сенат роздал заводы частным лицам.

9 августа в присутствии императрицы в Сенате был подан ей доклад о собирании в казну впредь десятой доли с меди, железа, чугуна и со всего выделяющегося на частных заводах, но со вновь устраивающихся заводов этот платеж взыскивать только по прошествии десяти лет. Екатерина подписала: «Быть по сему, а о розданных казенных заводах и о приписных крестьянах рассмотрение сделать». В том же присутствии она дала Сенату два приказания: 1) определить, «какие достаточные способы к весьма нужному размножению и сбережению лесов для переду принять надлежит; 2) для рассмотрения гражданских штатов быть особой комиссии при сочинении Уложения, и в оной быть главным князю Якову Петр. Шаховскому».

Относительно крестьянских волнений Екатерина еще 3 июля подписала указ: «Понеже благосостояние государства, согласно Божеским и всенародным узаконениям, требует, чтоб все и каждый при своих благонажитых имениях и правостях сохраняем был, так как и напротив того, чтобы никто не выступал из пределов своего звания и должности, то и намерены мы помещиков при их имениях и владениях ненарушимо сохранять и крестьян в должном им повиновении содержать». Но приходили известия о новых крестьянских волнениях. 19 июля в присутствии императрицы в Сенате читали просьбу генерал-майора Тевкелева на возмущившихся крестьян в Казанской и Оренбургской губерниях. 9 июля Екатерина велела распечатать домовые церкви, запечатанные в предшествовавшее царствование. Но предстоял трудный вопрос о монастырских имениях. 3 июля, присутствуя в Сенате, Екатерина приказала ему иметь рассуждение о духовенстве, как бы ему учинить удовольствие к его содержанию. Духовенство не дождалось и подало прошение об отдаче ему во владение вотчин, и 5 июля императрица передала это прошение Сенату с приказанием иметь рассуждение и мнение свое ей донести. Опять рассуждение! А между тем ростовский митрополит Арсений (Мацеевич) в письме к графу Алексею Петр. Бестужеву-Рюмину так описывал положение, произведенное распоряжениями по указу Петра III: «Не надлежало бы мне утруждать теперь ваше высокографское сиятельство просьбою. Однако крайняя нужда влечет, яко за отобранием ныне от дома архиерейского и от монастыря вотчин приходится с голоду умирать, понеже хлеб у нас весь был по вотчинам в житницах, а при себе в самом доме архиерейском не держал, кроме как только на пищу молодых. А как указ застиг, то воевода ростовский тотчас по всем вотчинам житницы опечатал и, скот и птицы описавши, в свою команду взял, оставив меня со всем духовенством и мирскими служителями без пропитания, и не токмо будет есть нечего, когда смолотое и лежавшее в сушилах приедем, но и литургии святой служить нечем и некому, все принуждены идти с нищими в мир. Всепокорно прошу показать милость к домам Божиим, дабы старанием вашим

возвращены вотчины были по-прежнему. Лошадей хотя малое число очень оставлено у нас, да и тех будет нечем кормить; не жаль того, что лошади у нас, все с кобылицами и малыми жеребьями, нарочным полковником, из Военной коллегии присланным, отобраны и в Петербург сведены, только жаль того, что завод, отчасти славный в государстве, совсем переведен и от нас не в прислугу высокомонаршей власти, но как бы за вину нечто конфискованное отобрано. В Ростове у нас воеводою надворный советник Петр Протасьев; невозможно ли постараться его отсюда переменить».

Преосвященные, пораженные указом Петра III, передавали друг другу в письмах своих сетования. Московский митрополит Тимофей писал Арсению ростовскому: «Что же касается до упомянутой в писании в. п. печали, то теперь не только вашу святость, но и всех нас коснулась эта скорбная метаморфоза, которая жизнь нашу приводит к стенаниям и горестям (*nunc non solum vestram sanctitatem, sed omnes nos dolenda ista tetigit metamorphosis, quae vitam nostram ad gemitus et dolores ducit*)». Архиепископ Амвросий писал тому же Арсению 15 июля: «Поздравляю общею радостью со вступлением ее и. в-ства на престол; слава Богу, что мы все от мысленного ига избавление получили и теперь, как из манифеста (о коронации) изволите усмотреть, к сентябрю месяцу просим и ваше преосвященство к нам в Москву пожаловать и нам о известном деле помогать». Митрополит Тимофей 2 августа писал Арсению: «Августа 1 принял я писание в. п. всеприятно, в коем объявленные в прошедшем времени следовавшие несчастные приключения читал не без сожаления. У нас в отдаленных только местах таким образом поступлено и скот по описи весь взят, а в Москве их наглостей не видели. Лошади хотя все описаны, однако и поныне не отобраны и остались под ведением нашим; но и нам сия отрада не велика, ибо, с другой стороны, не без жалости видеть можно, что в вотчинах от тех же наших крестьян невозвратные поделаны разорения: леса порублены, сено расхищено, мелкий скот и птицы инде прежде описи еще побраны, а инде при описи искоренены, в прудах рыба выловлена, и, какие только вообразить можно, наделали как при описи бывшие офицеры, так и сами крестьяне опустошения. Да и при Москве в Черкизовском моем пруде не однажды описатели дерзостно рыбу ловили, однако же не единожды за то и сменяемы были. В таких-то смутительных обстоятельствах одна только суть отрадою надежда». Но митрополит оканчивает письмо печальными словами: «Надежду истребляет рознь между братьями (*spemmutat discordia fratrum*)».

16 июля Сенат составил доклад по поводу просьбы духовенства об отдаче ему отобранных имений: 1) имения возвратить; 2) со всех крестьян кроме семигивенного подушного оклада брать рубль, из которого 50 коп. пойдет в казну на содержание инвалидов, а 50 – архиереям, в монастыри и прочие места, куда крестьяне будут возвращены; 3) крестьяне должны управляться не служками монастырскими, а выборными старостами, которых будут выбирать сами крестьяне с переменою погодно. По поводу этого доклада 18 июля у Сената с Синодом была конференция. Преосвященные объявили, что первым пунктом доклада довольны; но относительно платежа 50 коп. в казну Афанасий тверской объявил, что это будет крестьянам тягостно, другой же половины на содержание монастырей и семинарий мало; по его мнению, надобно было возвратиться к решению Синода, состоявшемуся при императрице Елисавете, именно: духовенство будет вносить ежегодно по 300000 рублей; а что касается сбора на архиереев и монастыри, то это оставить на их усмотрение. К мнению тверского преосвященного пристали Гедeon псковской и Вениамин петербургский, а Палладий рязанский соглашался с сенатским мнением, равно как и Дмитрий Сеченов новгородский, в чем и обнаружилась «рознь между братьями», которую оплакивал Тимофей московский. Дмитрий новгородский прибавил, что необходимо учредить комиссию из духовных и светских лиц для сочинения монастырям, архиерейским домам и семинариям штатов. Насчет управления крестьян выборными все архиереи согласились с Сенатом.

Надобно было принять мнение Дмитрия Сеченова о комиссии для составления штатов, ибо только после этого составления можно было определить, достаточно или недостаточно 50 коп., и тем прекратить споры и жалобы. Но комиссия, разумеется, должна была затянуть дело, и рождался вопрос, чем же до ее решения будут содержаться монастыри и архиерейские дома; отдать до окончания дела монастырям имения или не отдавать? Екатерина находила вопрос трудным, что видно из письма ее к Бестужеву от 8 августа: «Батюшка Алексей Петрович, прошу вас приложенные бумаги рассмотреть и мнение ваше написать; дело в том, комиссию ли учинить ныне, не отдавая деревень духовным, или отдавать ли ныне, а после сделать комиссию. В первой бумаге написано отдавать, а в другой – только чтоб они вступили во владение до комиссии. Пожалуй, помогай советами». Как видно, вследствие советов Бестужева, на которые могло иметь влияние письмо ростовского архиерея, 12 августа состоялся именной указ об отдаче всех синодальных, архиерейских, монастырских и церковных движимых и недвижимых имений для благопристойного духовного чина содержания им в управление, и об отставлении коллегии Экономии, и небытии посланным для управления церковных вотчин офицерам.

Такова была внутренняя деятельность Екатерины в два первые месяца ее царствования. Время было тяжелое для нее. Перемена 28 июня не могла остаться без нравственных последствий, без известной нравственной разнузданности. Екатерине нужно было много лет искусного, твердого и счастливого правления, чтоб приобрести тот авторитет, то обаяние, которое она производила в России и в целой Европе, чтоб заставить признать законность своей власти. В первое время царствования это признание не было всеобщим, и в Европе не было еще уверенности, что Екатерина удержится на престоле. Такие отношения заставляли Екатерину стараться об удержании при себе своих старых приверженцев, об увеличении их числа, заставляли сдерживаться, уступать, идти на сделки. Екатерина писала Понятовскому, что ей необходима величайшая осторожность, что за нею наблюдают. «Меня принудят, – писала она, – сделать еще тысячу странностей; если я уступлю, меня будут обожать; если нет, то не знаю, что случится». Предположим, в этих словах преувеличение, преувеличение намеренное; предположим, что Екатерина хотела выставить всю затруднительность своего положения, чтоб отвлечь Понятовского от приезда в Петербург; но за этим преувеличением все же останется что-то верное. Разумеется, Екатерина не думала, что ее заставят сделать ровно тысячу странностей; но в числе странностей она считала настаивание некоторых сильных людей на учреждении постоянного совета, казавшегося для Екатерины очень неудобным, особенно по известным взглядам человека, более других толковавшего о необходимости совета, – Никиты Ив. Панина. Те самые люди, которые хотели по отстранении Петра III возвести на престол малолетнего сына его Павла, а Екатерину провозгласить только правительницею до совершеннолетия императора, – те самые люди после неудачи своего замысла настаивают на учреждении постоянного совета. Зачем это настаивание? Хотят оградить себя от влияния фаворитов? Раздражающее, оскорбительное побуждение! Предполагают в Екатерине такую слабость, что она будет руководиться в делах управления волею фаворитов. Но и при постоянном совете, при надстройке этого верхнего этажа над Сенатом влияние фаворитов может быть преобладающим. При Петре II Верховный тайный совет не спасал от влияния Долгоруких. Значит, есть какой-нибудь другой умысел, и постоянный Императорский совет будет служить только средством к достижению чего-нибудь другого.

Дело не нравилось, возбуждало подозрение, а между тем считалось нужным уступать, соглашаться хотя на время, изыскивать способы впоследствии уклониться от него. В оправдательном манифесте Бестужеву, написанном или переписанном рукою самой Екатерины, находим следующие слова: «И сверх того, жалуем его (Бестужева) первым императорским советником и первым членом нового, учреждаемого при дворе нашем Императорского совета». Но удалось исключить эти слова в печатном манифесте.

Для обеспечения себя от разных *странностей* надобно было поспешить коронациею, и выезд императрицы для этого в Москву назначен был на 1 сентября. Распоряжения по торжеству коронации были поручены князю Никите Юрьевичу Трубецкому. Князь Никита должен был устроить для императрицы помещение в Кремле и по этому случаю писал к заведовавшему Кабинетом Олсуфьеву: «Я, всячески рассматривая положение покоев в Кремле, в которых ныне резидовать изволит все милостивейшая государыня, не нахожу места, где б можно было быть церкви, а зная же великое благоволение ее и. в-ства к Богу, рассуждая, что без церкви, дабы она вблизи была, обойтись нельзя, нашел средства тому помочь, то есть чтоб с церковию Сретенского собора, которая в самой близости от апартаментов ее в-ства состоит и церковь изрядная, сделать из покоев ее в-ства покрытую и с окончинами деревянную коммуникацию, и как очень церковь холодная, то из находящейся около нее паперти теплые покои». Это распоряжение было одобрено Екатериною.

Приготовление короны было поручено И. И. Бецкому. По этому случаю кн. Дашкова рассказывает любопытное происшествие, из которого ясно видно, как событие 28 июня кружило головы. На четвертый день после переворота, когда императрица находилась вдвоем с Дашковою, Бецкий испрашивает позволения войти, входит, бросается на колена и начинает умолять императрицу признаться, чьему влиянию она приписывает свое воцарение. «Я обязана своим воцарением, – отвечает Екатерина, – Богу и избранию моих подданных». «В таком случае, – говорит отчаянным тоном Бецкий, – я не имею более права носить этот знак отличия» – и при этих словах начинает снимать с себя Александровскую ленту. Екатерина спрашивает его, что это значит. «Я самый несчастный человек, – отвечает Бецкий, – потому что в. в. не признаете во мне единственного виновника своего воцарения! Разве не я настроил к этому умы гвардейцев? Разве не я бросал деньги в народ?» Императрица и Дашкова обе пришли в беспокойство, подумавши, что Бецкий сошел с ума; но Екатерина скоро нашла средство успокоить Бецкого. «Я признаю, – сказала она, – сколько я вам обязана; и так как я вам обязана короною, то кому же лучше, как не вам, поручить приготовление всего того, что я должна буду надеть во время моей коронации? Итак, позаботьтесь об этом: все бриллиантчики империи будут в вашем ведомстве». Бецкий пришел в восторг и рассыпался в благодарностях.

Из 25 сенаторов 20 отправлялись в Москву на коронацию, именно: гр. Бестужев, гр. Разумовский, кн. Трубецкой, Бутурлин, канцлер гр. Воронцов, гр. Александр Шувалов, Сумароков, Петр Чернышев, кн. Одоевский, кн. Алексей Голицын, гр. Петр Шереметев, кн. Шаховской, Никита Панин, гр. Скавронский, кн. Волконский, гр. Роман Воронцов, гр. Иван Воронцов, кн. Мих. Голицын, Суворов, Брылкин. Пятеро оставались в Петербурге: Неплюев, Николай Андр. Корф, Жеребцов, Ушаков и Костюрин. По этому случаю Панин подал записку: «Когда адмирал Голицын был оставлен здесь членом Сенатской конторы (во время коронации Елисаветы), яко один сенатор, тогда в указе ему велено было иметь над всеми гражданскими и военными делами главную команду. Ныне оставляется здесь целый департамент сенатский, состоящий в пяти сенаторах, так не соизволено ли будет повелеть главному из них, что хотя все правление должно производимо быть в Сенатской конторе купно со всеми сенаторами, однако же попечение о неупущении и добром порядке более ему принадлежит. Старший сенатор Неплюев по бедности своей не имеет здесь такого дома, где б пристойно жить мог; да к тому же, яко главному в городе, надлежит ему иметь караул как для чести, так и для случающихся надобностей. Не меньше должен он принимать у себя в доме знатных чужестранных проезжающих и праздновать торжественные дни; того ради не соизволено ли будет указать ему по прежним примерам переехать жить в деревянный Зимний дворец и иметь караул, а на стол определить по 500 рублей на месяц. В рассуждение важной новости общего положения и оставляемого столь людного столичного города, в котором так свежо еще остается в памяти великое происшествие, требует наипаче штатский резон, чтоб сей распорядок соображаем был с зрелую политикою, которая должна быть приведена в пристойную знатность пред публикою.

Следовательно, пристойно б было, если бы соизволено при самом отъезде пожаловать голубую ленту ему, Неплюеву, чем публика, следовательно, и общее послушание к нему вяще в респект приведены будут. А сей публичный знак высокой поверенности не может быть никому в предосуждение, потому что он не токмо всех тех старее, кои его не имеют, но и большая часть имеющих его моложе. Он же служит 50 лет и обращался всегда в отличных делах с пользою».

Панин поручил Теплову передать эту записку императрице, а сам 27 августа выехал с наследником престола в Москву. Выехал он, как видно, не очень довольный отношениями своими к Екатерине; его беспокоило влияние Григория Орлова, беспокоило и то, что учреждение Императорского совета было отложено. Не так действовал Бестужев: хитрый старик помнил, какую силу при Елисавете давала ему дружба Алексея Разумовского; он заискал и теперь у Орлова, не настаивал на том, что было неприятно, выказывал преданность безграничную и был за то «батюшка Алексей Петрович». Дашкова и Теплов были также недовольны. Относительно первой исполнилось предсказание дяди, канцлера: выставкою своего участия в событии 28 июня она раздражила Екатерину, раздражение усилилось ее столкновениями с Орловыми. Теплов жаловался, что не пользуется прежнею доверенностию императрицы, что Елагин перемещается у него дорогу, Екатерина могла охладеть к Теплову за его тесную связь с Паниным и Дашковою, но мог повредить ему и Бестужев. Мы видели, что по своем возвращении, стремясь к торжественному оправданию себя, Бестужев пересмотрел следственное дело, по которому он был осужден, и сделал свои замечания, конечно не оставшиеся тайною для Екатерины. Эти замечания указывали на Теплова как на изменника, который донес о переписке Екатерины с гетманом Разумовским. «О сем секрете, – писал Бестужев, – никому известно быть не могло, кроме Теплова: он единственно, зная на Елагина и Бестужева, тайным доносителем был; ежели он подобно тому в новом Тайном совете поступать будет и всех перессоривать, то не нахальством, но скромностию, чистою совестью и искусством Ададуров превосходить будет».

Как бы то ни было, Теплов был недоволен, что видно из писем его к уехавшему Панину. От 29 августа он писал: «Того момента, как вы поехали, я, потуживши о вашем отъезде с любезною нашею княгинею (Дашковою), пошел к е. в. и имел счастье подать ваше запечатанное письмо. Ее в-ство, прочитавши оное, думая, что материя мне письма вашего известна, сказать изволила: я не знаю, где тот указ, вить-де есть у тебя черный, принеси мне копию! Услышавши от меня, что содержания письма не знаю и что, о каком указе изволит говорить, я разуместь не могу, тогда изволила сказать: о Неплюеве. Это было поутру до обедни. Пополудни в 3 1/2 часа я принес вторично чисто переписанный и подал ее в-ству, после чего изволила мне показать одну резолюцию своеручную на докладе, кажется, о Перфильеве, а подлинно не рассмотрел: нет ли-де против языка ошибки? Я счастье имел об одной только самой малой представить, впрочем, очень правильно написана была. Потом я о Тотлебене доложил, и ее в-ство очень сожалеть изволила, что запаматовала о нем, надобно-де дело его до отъезда кончить; и когда я доложил, что в прежних делах сентенция оригинальная об Тотлебене находится, то ее в-ство повелеть мне изволила оную принести, с чем я и отошел. Скоро после того ее в-ство прислать ко мне изволила Минихово письмо с цedulaю и параллелями между порта Балтицкого и Ревельского с тем повелением, чтоб я, когда буду писать к в. п-ству, то б оные отослал, что я при сем и исполняю. Содержание письма Минихова показывает, что ее в-ство для забавы вам оное посылает. И подлинно экспрессии больше, нежели все прежние, смеха достойны. К вечеру я подал сентенцию о Тотлебене. В заключение поговорим о княгине Дашковой, которая, кажется мне, в большом горе после вашего отъезда. Я почти постоянно у нее. Дух ее, хотя и в беспокойстве обретающийся, порождает постоянно идеи, от которых я рот разеваю. Наши уединенные беседы с сею дамою, добродетельною и разума исполненною, составляют единственное утешение для моего духа, удрученного беспокойством. Я имел честь обедать с нею. Напитала она меня обильно. Моя одна порция составила бы четыре ваших обеда. Мы ужинали в сообществе с княгинями Куракиною и Репниною. Смех содействовал много нашему пище-

варению, тем более что наша любезная хозяйка подбавляла соли. Я теряю терпение, но я привожу себе на память, что человек солидный не должен помрачать свою добродетель простыми предположениями и что два месяца недостаточны, чтоб сказать, что имеешь довольно опытности при дворе. Императорский совет решит все. Когда я в Москве, то по крайней мере могу сказать, что я ближе к моим украинским пенатам. Верно то, что не станут удерживать силою того, от кого хотят отделаться. Служить, не имея доверенности государя, все равно что умирать от сухотки. Ради Бога, берегите ваше здоровье и успокойтесь от тех волнений в крови, которые причинили вам дела петербургские. Это единственное средство для в. п-ства, для княгини и для того, который всю свою жизнь не перестанет вас любить» и проч.

1 сентября Теплов писал: «Ив. Ив. Неплюеву ее в-ство вчерашнего вечера указ сама изволила отдать. Я прилагаю точную копию того, который подписан для вашего прочтения, а при том и наш первый концепт, дабы вы изволили сами сличить, в чем состоит отмена. По моему мнению, различие главное состоит в том, что прописка указа о Сенатской конторе выставлена, чем сей новый и укорочен. Впрочем, сила и содержание все прежнее оставлены, но как всякий стилист любит больше себя автором видеть, нежели другого, то и тут во многом переправщик слова первые назад, а задние наперед переставил и тем великую будто поправку нашего концепта доказал. Гораздо труднее дать идею сочинению в его создании, чем переменять слова. Но человек без кредита, как я, должен все проглатывать. Г. Елагин – мой друг, но я думаю, он сам признается, что не ему меня учить языку, тем больше что его можете, которое вы найдете в указе вместо можете, служит убедительным доказательством моего честолюбия, которое не совсем неуместно. Прилагаю манифест печатный о графе Алексее Петровиче Бестужеве. Оригинальный написан рукою, мне неизвестною. Все любопытствуют знать, кем он сочинен, говоря, что очень хорошо составлен. Но так как я об этом ничего не знаю, то мне не трудно отвечать. Мой ответ: „Не знаю и первый раз вижу и слышу“ – заставляет некоторых думать, что вы его автор». Панин имел удовольствие узнать, что его представление о Неплюеве исполнено.

В назначенный день, 1 сентября, Екатерина выехала в Москву и 9-го числа остановилась в подмосковном селе гетмана Разумовского Петровском (Разумовском), 11-го числа в Петровском собрались члены Синода и высшее духовенство, придворные дамы, кавалеры, генералитет и прочие знатные обою пола особы для поднесения всеподданнейших поздравлений. Первым выступил новгородский архиерей Димитрий как первый член Синода; не о надеждах в будущем говорил оратор, он прославлял совершенный уже подвиг: «Се царствующий град Москва вместо возженных светильников с горящими любовию сердцами усретае вожденную мать и государыню свою, преславная дела и заслуги отечеству и церкви показавшую. Гряди, защитница отечества, гряди, защитница благочестия, вниди во град твой и сяди на престоле предков твоих». Явился и запорожский кошевой атаман с старшиною, и писарь говорил императрице речь от всего войска. Запорожец начал с того, что выставил необходимость власти и повиновения ей. «Вся премудростию сотворивый Господь, – говорил писарь, – вечно и непоколебимо узаконил рекам ведать свой юг, магниту – север, туче – восток, солнцу – запад, нам же, человекам, – учрежденную над собою власть. Сей наш всеобщий и неперемный долг так нас крепко понуждает и к наблюдению своему влечет, что аки бы он на скрижалях сердца нашего был написан. Чего всего в рассуждении, когда Царь Небесный в. и. в. на престол всероссийский всесильною своею десницею возвел, и мы все, сыны и питомцы Низового Днепровского Запорожского коша, как дети и птенцы орляго твоего гнезда, не могли от несказанной радости не вострепетать и следующего приветствия не возгласить: бог духов и всякие плоти в. и. в-ства дух жизни, которым вся Россия живет, движется и процветает, в священнейшем ковчезе августейшего тела дражайшим здравием и светозарным долгоденствием да оградит!» и проч.

13 сентября происходил торжественный въезд в Москву: «По улицам убрано было ельником, наподобие садовых шпалер обрезанным разными фигурами; а для смотра народу обыватели каждый пред своим домом имел построенные преизрядные галереи, по которым

снаружи, также в домах, из окон и по стенам свешены были ковры и другие разные материи». В Успенском соборе, когда императрица, приложившись к иконам и мощам, стала на своем месте, а наследник – на место цариц, то Димитрий новгородский начал говорить проповедь: «Красуйся, царствующий град, и удивляйся, глаголя: откуда мне сие, яко прииде мати отечества ко мне? Виждь в св. храм сей, аки в сердце всего Российского царства, благочестно входящую. Прииде к нам, благочестивые веры защитница, церковь и отечество матерним покровом покрывшая и сохранившая; прииде всех скорбей и печалей наших окончание, всех радостей наших вина. Видела мать свою, св. церковь, бедствуему и озлобляему, восхотела от страха и вредных перемен избавити, не допустила отечеству прийти в наглое расхищение, в горесть и воздыхание, не дала России от сопостатов быти в посмех, в стыд и поношение. Да как ужасно слышати: мечом ли, оружием ли или кровопролитием? Никако; и презря живот свой, не бояся смерти, с единым на Бога упованием».

Коронация произошла с обычными церемониями 22 сентября. И тут новгородский митрополит говорил речь, величая событие 28 июня как дело Божие: «Господь положил на главе твоей венец. Знает он благочестивые от напасти избавляти, знал пред собою чистое сердце твое, знал непорочные пути твои, знал в несносном терпении твоём ни откуда помощи ищущую, на него единого уповающую. Знаем и все единодушно скажем, что ни глава твоя царского венца, ни рука твоя державы искала славы ради, или снискания высокой власти, или приобретения временных сокровищ; но едина матерняя ко отечеству любовь, едина вера к Богу и ревность к благочестию, едино сожаление о страждущих и утесняемых чадех российских понудили тебе прияти великое сие к Богу служение. Видела озлобление людей твоих; видела все – и воздыхала яко близ падения церковь, близ опасности все благосостояние российское, но ты едина, ревнуя, поревновала еси. Господи Боже вседержителю, и сие чудное строение не человеческого ума и силы, но Божиих несказанных судеб и его премудрого совета. Будут чудо сие восклицать проповедники, напишут в книгах историки, прочтут с охотою ученые, послушают в сладость не книжные, будут и последние роды повествовать чадом своим и прославлять величия Божия. Ныне, когда по мрачных тучах оных наступило ведро и самая осень претворилася в красную весну, начинай лето, Господеву приятно. Поздравляем и тебе, дражайший все-российского престола наследниче, Богом венчанною ныне, вселюбезною матерью твоею. Что ныне самодержавная мать твоя восприяла, то и тебе понести иногда должно будет; помышляй, яко ее корона – твоя корона; вся елико иметь даст тебе; ее престол – твой престол, твой сиклит, твоё воинство, твоё всероссийское царство».

На медалях, выбитых в честь коронации, на лицевой стороне изображен был бюст императрицы, а на обороте: «Православие и Российское отечество, спасенные геройским духом ея и в-ства от угрожавших им бедствий, радостно возносят украшенный дубовыми листьями щит с именем ее в-ства, на который провидение Божие императорскую корону налагает; перед ними стоит курящийся жертвенник с изображением знаков духовного, военного и гражданского чина, на который Российское отечество сыплет фимиам во изъявление всенародных молитв и усердных желаний о долгоденствии и благополучном государствовании вседражайшия их монархини и избавительницы, с подписанием: вверху: „За спасение веры и отечества“, внизу: „Коронована в Москве, сентября 22 дня 1762 года“».

Великороссийский архиерей повторял о благодетельном значении события 28 июня для церкви и отечества; но к торжеству коронации приехал в Москву православный архиерей из чужого государства; он также в своей речи прославил восшествие на престол Екатерины как событие, спасительное для русской церкви, но указал для новой императрицы новые обязанности, о которых не упоминал митрополит новгородский. 29 сентября, в последний день коронационных торжеств, говорил Екатерине речь известный Георгий Кониский, епископ могилевский или белорусский. В самом начале речи Кониский не усомнился назвать себя и весь белорусский народ подданными русской императрицы: «Между подданными народами в. и.

в-ства, о всерадостнейшей коронации торжествующими, приносит и белорусский народ чрез меня, подданника в. в-ства, всеподданнейшее поздравление. Знаю, как далеке отстоит Богом благословенная Палестина от тесного Израилью Египта, состояние, сказую – людей, пределами российскими огражденных, от состояния людей хотя единоверных, но в польской области заключенных. Зде светильник веры, от дней Владимировых зажженный, блистает, доселе потрясен был нечаянно, но опять утвержден: у нас светильник тот свирепю, дышущие от Запада вихри на многих местах совсем превратили. Зде храмы Господни славословием имени его свободно гремят; замолкло было пение, но опять возгремело: у нас храмы Господни множайшие отняты, прочие опустошены и запечатлены, разве сов и вранов гнездящихся гласы издают. Зде чем кто благочестивее, тем и честнее; пришло бы благочестие в нечесть, но опять на первое достоинство возвратилось: у нас благочестивым именоватись в студ ставят; за благочестие раны, узы, темницы, домов разорение, а нередко и живота лишение издревле терпим. Однак, и в толиких египетских озлоблениях и столько отстоя от благополучия подданных в. в-ства, не хотим уступить им в рассуждении радости настоящей. Смеемся, и сквозь слезы утешаемся, и в горести души торжествуем и в последнем утеснении. А для чего так? Надежда избавления нашего веселит нас, надежда не в траве, как говорят, ниже в одном цвете, но и в самом плоде состоящая. Тобою, благочестивейшая государыня, светильник веры, бывший в России потрясенный, стал утвержден. Тобою храмы Господни и красоту и гусли своя с псалтирью удержали. Тобою благочестивые и верные подданные твои в первую честь и достоинство приведены. Сии тобою в едино лето принесенные плоды обнадеживают нас крепко, что и нам подобные принесши в грядущее время. Или бо не можеша сего сотворити нам, или не соблаговолиши? Могла в немощи – можеша в силе; могла престола лишаема – можеша на престоле Богом посажденна; могла в страхе и опасности жития пребывая – можеша страхом и угрожением смерти неприятных исполняя. Могла и соблаговолила тогда, когда живот твой за веру и отечество в жертву Богу предала, – можеша и соблаговолиши теперь, когда Бог тебе живот твой для веры и отечества, еще же и для покровительства единоверных вместе со скипетром возвратил. Молим же в. и. в-ство: не посрами нас, надежда наша, в чаянии нашем, спаси нас десницею твоею и мышцею твоею покрый нас!»

Граф Алексей Петр. Бестужев-Рюмин не хотел предоставить одним архиереям прославление подвига Екатерины 28 июня. За четыре дня до коронации императрица получила от него проект предложения его Сенату. Приводя в пример Петра Великого, получившего по случаю шведского мира название Великого и Отца отечества, Бестужев говорил в проекте: «Не может справедливее и одолжительнее случай быть ныне благополучно государствующей императрице Екатерине Алексеевне, избавительнице России от неизбежной почти опасности империи сей разрушения, погубления нажитой славы, предвидимого уже ига и низложения, достойный принести знак благодарности. Я должности моей быть нахожу Правит. Сенату, почтенным собраниям моим, как старший между ими член, предложить, чтобы, призвав Св. Синод и прочих главных, положить согласие по совершении коронации ее в-ству именем всего российского народа, при благодарении за ее попечение и труды, не только оберегая, но не щадя собственной своей всевысочайшей особы для пользы верноподданных своих, принести торжественно титуло и именование Матери отечества». Екатерина написала на проекте: «Видится мне, что сей проект еще рано предложить, потому что растолкуют в свете за тщеславие; а за ваше усердие благодарствую».

Екатерина была совершенно довольна приемом, какой сделали ей московские жители. На третий день после коронации, 25 сентября, она писала посланнику своему в Варшаве графу Кейзерлингу: «Невозможно вам описать радость, какую здесь бесчисленный народ оказывает при виде меня: стоит мне выйти или только показаться в окне – и клики возобновляются». Но в то же время между некоторыми офицерами повторялось имя *Иванушки* (Ивана Антоновича). Мы видели, что Петр III имел свидание с шлюссельбургским заточником, участь которого не

была после этого облегчена. Екатерина на другой же день своего царствования, 29 июня, уже сделала распоряжение насчет немедленного свидания своего с Иваном. Генерал-майор Силин от этого числа получил указ из Петергофа: «Вскоре по получении сего имеете, ежели можно, того же дни, а по крайней мере на другой день, безыменного колодника, содержащегося в Шлюссельбургской крепости под вашим смотрением, вывезти сами из оной в Кексгольм; а в Шлюссельбурге, в самой оной крепости, очистить внутренней крепости самые лучшие покои и прибрать, по крайней мере по лучшей опрятности, оные, которые, изготовив, содержать до указу». 4 июля из деревни Мордя, лежащей в 30 верстах от Шлюссельбурга, Силин доносил, что их разбило на озере бурей и они с арестантом находятся в означенной деревне, дожидаясь новых судов из Шлюссельбурга, на которых и поплывут в Кексгольм. При личном свидании своем с Иваном Екатерина убедилась, как нелепы были толки людей, не выдавших Ивана и думавших, что Екатерина может скрепить свои права на престол, выйдя замуж за правнука царя Иоанна Алексеевича. Иван был отвезен обратно в Шлюссельбург в прежнее помещение, приготовленное было для Петра III. Арестант был поручен надзору двоих офицеров – Власьева и Чекина, а коменданту шлюссельбургскому Бередникову не велено было вмешиваться в их дела; Власьев и Чекин должны были непосредственно обращаться к Никите Ив. Панину, который дал им инструкцию: «Разговоры вам употреблять с арестантом такие, чтоб в нем возбуждать склонность к духовному чину, т.е. к монашеству, и что ему тогда имя надобно будет переменить, а называть его будут вместо Григорья Гервасий. Ежели случится, чтоб кто пришел с командой или один, хотя б то был и комендант, без именного повеленья или без письменного от меня (Панина) приказа и захотел арестанта у вас взять, то оного никому не отдавать и почитать все то за подлог или неприятельскую руку. Буде же так оная сильна будет рука, что спастись не можно, то и арестанта умертвить, а живого никому его в руки не отдавать». На увещания Власьева и Чекина Иван отвечал: «Я в монашеский чин желаю, только страшусь Св. духа, притом же я бесплотный». Потом сказал, что ему позволено постричься, образам молиться и кланяться, но Гервасием называться не хочет, а пусть назовут его Феодосием.

Но все это содержалось в глубочайшей тайне; о неспособности Ивана к правлению знали очень немногие, и его имя являлось в устах каждого недовольного. К графу Григорию Григ. Орлову явился капитан Московского драгунского полка Побединский с известием о существовании партии, которая считает между своими членами Ив. Ив. Шувалова и которая хочет возвести на престол Ивана Антоновича, что он, Побединский, слышал об этом от поручика Петра Чихачева, а Чихачев – от капитан-поручика Измайловского полка Ивана Гурьева. Орлов сказал, чтоб Побединский с товарищами без боязни вступали в это дело для подробнейшего разведывания. Вследствие этого разведывания несколько офицеров были допрошены и показали: Семеновского полка подпоручик Вепрейский показал, что сержант Лев Толстой до коронации дней за семь сказывал ему, что он слышал от поручика Семена Гурьева, будто собирается партия, к которой и Толстой от Гурьева приглашен. Толстой сказывал Вепрейскому, что послан Лихарев за принцем Иваном, что Семен Гурьев приглашен Александром Гурьевым, знает о том Ив. Ив. Шувалов, князь Иван Голицын, да нет ли тут Измайловых также. В день коронации Вепрейский рассказал об этом Дмитрию Измайлову и предлагал на другой день ехать и объявить Григ. Григ. Орлову; но Измайлов сказал, что не с чем ехать, все это вранье, и если оговоренные запрут, то донощикам придется терпеть истязание. Измайловского полка капитан-поручик Иван Гурьев на допросе показал: говорил Петру Чихачеву, что Иван Шувалов и с ним четыре знатные особы, а прочих до 70 человек в согласии, чтоб быть государем Ивану Антоновичу, только скоро делать этого нельзя, потому что солдаты любят государыню, а со временем может быть великое кровопролитие, с Шуваловым называли и князя Никиту Трубецкого.

Измайловского полка капитан-поручик Домогацкий показал: свояк его Степан Бибииков сказывал ему, что слышал от Петра Хрущова бранные слова против е. и. в. Петр же Хрущов,

прощаясь с Бибиковым, говорил: «Чего трусишь? Нас в партии около 1000 человек!» Михайла Шипов, разговаривая с Семеном Гурьевым, жаловался, что он несчастлив: другие произведены, а он не произведен; Гурьев его утешал. «Слышно, – говорил он, – что собирается партия против государыни, можете быть в хорошей партии: тут Иван Шувалов, Александр Гурьев, князь Иван Голицын». Михайла Шипов заметил, что тут и Никита Ив. Панин; Гурьев отвечал: «Это правда, что Никита Ив. Панин тут; но есть еще другая партия, в которой Корф: он собирается восстановить Иванушку; наша партия гораздо лучше, мы стоим за то, для чего цесаревич не коронован, а теперь сомнение у Панина с Шуваловым, кому правителем быть». Семен Гурьев показал, что говорил о некоторых противных партиях, к чему и солдаты армейские некоторых полков распалены; их сержантов в ту партию приглашал и сказывал им, что послан Лихарев за принцем Иваном, чтоб привезти его к оному делу; обо всем этом слышал от Петра Хруцова, а о посылке Лихарева сам выдумал с досады, что 28 июня был на карауле в Петергофе, обещаны были ему награды, но ничего не получил. Петр Хруцов на очной ставке с Гурьевым показал, что действительно все это говорил, а о князе Трубецком и Шувалове им объявлял по одной эхе, слышал на дороге, идучи с батальоном, а подлинно от кого слышал, показать не может.

Екатерина поручила исследовать дело без пыток. Из приведенных показаний открыто было оскорбление величества и умысел к общему возмущению. Сенат в полном собрании вместе с президентами коллегий приговорил Петру Хруцову и Семену Гурьеву отсечь головы, Ивану и Петру Гурьевым каторжную работу, а имение их оставить детям и наследникам. Императрица переменила смертную казнь на вечную ссылку в Камчатку, а каторжную работу на вечную ссылку в Якутск. В манифесте об этом говорилось: «Мы можем, не похвалившись, пред Богом целому свету сказать, что от руки Божией прияли всероссийский престол не на свое собственное удовольствие, но на расширение славы его и на учреждение доброго порядка и утверждение правосудия в любезном нашем отечестве. К сему достохвальному намерению мы приступили не словом, но истинным делом и о добре общем ежедневно печемся. Но при сих наших чистосердечных намерениях нашлись такие беспокойные люди, которые покусились делать умысел к ниспровержению Божия о нас промысла и к оскорблению нашего величества и тем безумно вознамерились похитить Богом врученного нам народа общее блаженство, о котором мы беспрестанно трудимся с матерним попечением».

Дело было ничтожное; Дмитрий Измайлов сказал справедливо, что «все это вранье». Но из этого вранья обозначилось, что может быть предметом вранья: восстановление Ивана Антоновича и то, зачем не коронован цесаревич. По отношению к первому Екатерина послала предложить свободу только одному принцу Антону: «Мы его одного намерены теперь освободить и выпустить в его отечество с благопристойностью, а детей его для государственных резонов, которые он по благоразумию своему понимать сам может, до тех пор освободить не можем, пока дела наши государственные не укрепятся в том порядке, в котором они к благополучию империи нашей новое свое положение теперь приняли. И ежели он, принц, пожелает быть свободен один, а надежду на нас положит, что мы детей его в призрении своем до времени оставим, содержа их не токмо в пристойном довольстве, но и, как скоро повод к свободе их усмотрим, выпустим и к нему придем: то он может искренне свое точное желание объявить. Ежели с детьми своими на обещанное нами время разлучиться не похочет, то бы принял на себя терпение до тех пор остаться в нынешнем его состоянии, доколе и в свободе детей его ту же удобность увидим, которая теперь для него только одного открылась». Принц Антон не согласился быть свободным без детей.

Дело Хруцова и Гурьевых было ничтожное, но оно должно было произвести сильное впечатление на Екатерину. Это было первое искушение. При всем ее старании представить свою деятельность противоположность бывшему царствованию, при всем старании показать, что «о добре общем ежедневно печемся», при первом личном неудовольствии уже тол-

кую об Иване Антоновиче или, что еще хуже, о том, зачем цесаревич не коронован, решаются *распалать* солдат, прямо указывают на знатных людей как на соумышленников, и это болезненное настроение есть следствие события 28 июня: одним удалось тогда, отчего нам не может утешить теперь? Даже коронация не прекратила этого настроения.

Екатерина, несмотря на все свое умение владеть собою, не могла в октябре 1762 года скрыть тяжелого состояния своего духа: печаль была написана на ее лице. Она призналась английскому посланнику графу Бекингаму, что в обществе она все больше и больше становится рассеянною, сама не зная отчего. Тот же посланник так описывает положение Екатерины: «Императрица по своим талантам, просвещению и трудолюбию выше всех ее окружающих. Стесненная обязательствами, полученными в последнее время, сознавая затруднительность своего положения и страшась опасностей, которыми до сих пор она должна была считать себя окруженною, она еще не может действовать самостоятельно и освободиться от многих окружающих ее людей, которых характер и способности она должна презирать. В настоящее время она употребляет все средства для приобретения доверия и любви подданных; если она успеет в этом, то воспользуется приобретенною властью для чести и пользы своей империи».

С этим отзывом сходен и отзыв французского посланника Бретейля. «Кроме Панина, который скорее имеет привычку к известному труду, чем большие средства и познания, у этой государыни нет никого, кто бы мог помогать ей в управлении и в достижении величия, и, однако, она должна выслушивать и в большей части случаев следовать мнениям этих отъявленных русаков (*vieux russes*), которые, чувствуя выгоду своего положения, осаждают ее беспрестанно то для поддержания своих предрассудков относительно государства, то по своим частным интересам. В больших собраниях при дворе любопытно наблюдать тяжелую заботу, с какою императрица старается понравиться всем, свободу и надоедливость, с какими все толкуют ей о своих делах и о своих мнениях. Зная характер этой государыни и видя, с какою необыкновенною ласковостию и любезностию она отвечает на все это, я могу себе представить, чего ей это должно стоить; значит, сильно же чувствует она свою зависимость, чтоб переносить это. В одно из последних собраний, когда она была утомлена более обыкновенного разговорами с разными лицами, и особенно с пьяным Бестужевым, с которым у нее был долгий и живой разговор, несмотря на ее старания избегать его, императрица подошла ко мне и спросила, видал ли я охоту за зайцем. Когда я отвечал, что видал, то она сказала: „Так вы должны находить большое сходство между зайцем и мною: меня поднимают и гонят изо всех сил, как я ни стараюсь избежать представлений, не всегда разумных и честных. Однако я отвечаю, сколько могу, удовлетворительно, и если не могу исполнить чье-нибудь желание, то объясняю, почему...“» В другом донесении Бретейль пишет: «Императрица высказывала мне высокое мнение о величии и могуществе своего положения. Она повторила, быть может, раз тридцать: „Такая обширная, такая могущественная империя, как моя“. Она мне говорила о многих предположениях относительно внутреннего благосостояния России. Она мне сказала, что по прибытии в эту страну ее не покидала мысль, что она будет здесь царствовать одна. Императрица мне призналась, что она не совершенно счастлива, что она должна управлять людьми, которых нельзя удовлетворять; что она старается всеми средствами сделать своих подданных счастливыми, но чувствует, что надобны года да и года, чтоб они привыкли к ней. Выставляя свои успехи и блеск своего положения, она обнаруживала вместе беспокойство, что ей не по себе. Она в обаянии от престола, но вместе с тем что-то ее беспокоит и волнует. Это легко понять, если приглядеться к поведению и чувствам людей, пользующихся ее доверием в чем бы то ни было. Ни при одном дворе не господствовало такое разделение на партии, а императрица обнаруживает слабость и колебание – недостатки, которых никогда не замечалось в ее характере. Боязнь потерять то, что имела смелость взять, ясно и постоянно видна в поведении императрицы, и потому всякий сколько-нибудь значительный человек чувствует свою силу перед нею. Изумительно, как эта государыня, которая всегда слыла мужественною, слаба и нерешительна, когда дело идет о

самом неважном вопросе, встречающем некоторое противоречие внутри империи. Ее гордый и высокомерный тон чувствуется только во внешних делах, во-первых, потому, что здесь нет личной опасности, во-вторых, потому, что такой тон в отношении к иностранным державам нравится ее подданным».

Но как бы ни было затруднительно, тяжело положение Екатерины, необыкновенная живость ее счастливой природы, чуткость ко всем вопросам, царственная общительность, стремление изучить каждого замечательного человека, исчерпать его умственное содержание, его отношения к известному вопросу, общение с живыми людьми, а не с бумагами, не с официальными докладами только – эти драгоценные качества Екатерины поддерживали ее деятельность, не давали ей ни на минуту упасть духом, и эта-то невозможность ни на минуту сойти нравственно с высоты занятого ею положения и упрочила ее власть; затруднения всегда заставляли Екатерину на ее месте, в царственном положении и достойною этого положения, потому затруднения и преодолевались.

После коронационных торжеств двор оставался в Москве последние три месяца 1762 года и первую половину 1763-го. Состояние обеих столиц одинаково возбуждало опасения и заботы правительства, что мы видели относительно Петербурга и в предшествовавшее царствование. Теперь учреждена была комиссия из генерал-аншефа Чернышева, генерал-поручика Бецкого и лейб-кирасирского полка вице-полковника князя Дашкова; комиссия эта должна была представить в Сенат, каким образом ограничить распространение города Петербурга, чтоб жители его избавились от затруднения в сообщениях, производимого безмерною обширностью города; предполагалось необходимым назначить предел, за которым поселения уже составляли предместья; равным образом комиссия должна была представить свои соображения о Москве, которая по древности строения своего в надлежащий порядок не пришла, жители терпят разорение от частых пожаров вследствие тесного деревянного строения. В обеих столицах запрещено было вновь строить фабрики и заводы. Мы видим, что Екатерина в своей записке поместила в первое или в одно из первых присутствий своих в Сенате распоряжение о прекращении дороговизны хлеба в Петербурге, именно временное запрещение вывозить хлеб за границу, и тут же говорит о полном успехе этой меры: в два месяца наступила дешевизна всех припасов. Но из протоколов Сената мы узнаем, что 20 ноября в Москве императрица присутствовала в Сенате и объявила о донесении из Петербурга директора полиции Корфа о ценах хлеба и съестных припасов в этой столице: оказывалось, что с сентября месяца цена хлебу возвысилась на 20 коп. По этому поводу Екатерина приказала Сенату стараться об учреждении казенных магазинов, также изыскивать способы, как бы сделать провоз съестных припасов в Петербург дешевле, ибо купцы объявляют, что и при такой дорогой цене барыша мало получают.

Кроме известия о дороговизне из Петербурга приходили другого рода неприятные известия: от 20 ноября фельдмаршал Миних репортовал, что в Петербурге происходят такие грабительства и разбои, что ночью без конвоя никто из своей квартиры отлучиться не может. Сенат переслал это донесение в свою петербургскую контору; здесь приказали: в Сенат сообщить сведение, что были беспорядки, о которых старший сенатор Неплюев доносил императрице, сделаны распоряжения о их прекращении, несколько подозрительных людей и злодеев переловлено, после чего с 21 ноября водворилась полная тишина; что же касается репорта фельдмаршала Миниха, что без конвоя нельзя никому ночью выходить, то об этом никакого сведения ни от кого контора не имеет. Приходили известия о разбоях и из других мест: из Новгородского уезда доносили, что разбойники грабят и жгут помещичьи дома; послана была против них драгунская команда из 15 человек, но разбойники убили из нее двоих да ранили 5 человек, сами все ушли и производят разбои по-прежнему, присылают в помещичьи дома с требованием денег, угрожая поджогом.

17 сентября Екатерина приказала отменить сыщиков и обязанности их возложить на губернаторов и воевод, причем каждому губернатору и вице-губернатору велено прислать в

Сенат мнение, какие они в своих губерниях находят лучшие способы к искоренению воров. Но скоро опять пришло известие, что воровские люди напали на Ярославскую монетную фабрику. Потом пришло известие о разбоях по дорогам Шлюссельбургской, Ладужской, Нарвской; а на юго-востоке в Троицкий Битюцкий монастырь приехала разбойничья шайка в 27 человек, монастырских казначей и ключника били плетью, прочих монахов жгли и вымучали монастырских денег 1630 рублей и прочие вещи пограбили.

Крестьянские волнения продолжались. Крестьянин Азебаев принес в Казанскую губернскую канцелярию копию с манифеста, будто бы состоявшегося 7 июля, о восшествии на престол Екатерины; в манифест вписаны были «самые пасквильные речи», например: которые собственные ее и. в-ства крестьяне отданы были в прежних годах архиереям и монастырям и которые подписаны под заводы, таким отнюдь на этих заводах не работать и быть по-прежнему ясачными. Открылось, что бумагу писал Казанского уезда, села Красной Горки дьячок Кузьмин, который признался, что сочинил ее умышленно в бытность свою под караулом в Казанской духовной консистории вместе с содержащимся в ней под караулом заводским крестьянином графа Шувалова Куликовым. Азебаев объявил, что заводские крестьяне Шувалова списали копии с мнимого манифеста и, ездя по своей братии, возмущают и берут подписки не работать на заводах, а желающих работать бьют, разоряют и выгоняют из домов. В ноябре Сенат слушал донесение канцелярии главного правления заводов, что приписанные к казенным и партикулярным заводам крестьяне единогласно состоят в упорстве, и со многих заводов от работ насильно ушли, и по неоднократным посылкам из канцелярии ни в какие работы нейдут; по мнению канцелярии, крестьян этих, кроме строгости военных команд, ничем другим усмирить нельзя, и Берг-коллегия была согласна в этом. Из донесения канцелярии ясно, что и приписанные к казенным заводам крестьяне волновались точно так же, как и приписанные к частным заводам.

Для умирения заводских крестьян отправлен был генерал-квартирмейстер князь Александр Алексеевич Вяземский, в инструкции которому говорилось, что он прежде всего должен привести крестьян в рабское послушание и усмирить, потом сыскивать подстрекателей. Исполнивши это, исследовать насчет притеснений, которым они подвергались. Если не будет под руками прикащиков, на которых они жалуются, то для скорейшего прекращения дела крестьян заставить работать, если они правильно принадлежат к заводу, а с прикащиков взять подписки, чтоб они отнюдь с крестьян ничего лишнего не требовали, особенно же удерживались от мучительства, какое оказалось на Петровском заводе Евдокима Демидова. Если, несмотря на увещания и угрозы, крестьяне не придут в повиновение, то усмирить их оружием, однако к делу не приступать без самой крайности. При исследовании их жалоб поступать таким образом: взять от крестьян поверенных по их добровольному выбору или самому Вяземскому определить к ним депутата и, забравши от него или поверенных все их жалобы с доказательствами, исследовать беспристрастно, выслушивая обе стороны, ибо как крестьянская продерзость всегда вредна, так и человеколюбие наше терпеть не может, чтоб порабощали крестьян свыше мер человеческих, особенно с мучительством. И если действительно найдется, что прикащики виноваты, то наказать их, причем надобно брать предосторожность, чтоб крестьяне не возмечтали, что их начальники и тогда должны их бояться, когда им не понравится и правильная работа. Если кто из прикащиков уличится в крайнем бесчеловечии, такого можно наказать и публично; а если кто требовал работы сверх должного, такого можно наказать секретно, не подавая повода простому народу выходить из надлежащей покорности. Окончив это дело, Вяземский должен был рассмотреть состояние заводов, осведомиться, не лучше ли горные работы производить вольнонаемными работниками, чтоб этим, если можно, отвратить на будущее время все причины к беспокойствам и работу сделать прочнее и полезнее.

7 ноября Екатерина, присутствуя в Сенате, объявила, что государственные крестьяне, живущие в Казанской, самой лучшей, губернии, приведены в великую бедность и без доз-

воления местных зрителей не смеют завести ни одного поросенка, будто для того, чтоб эти животные не ели дубовых желудей, которых, однако, ни одного не было посажено. Императрица приказала для освидетельствования всех этих беспорядков послать туда надежного чиновника. Выбран был вице-президент Штатс-конторы Швебс.

Оставались крестьяне церковных имений. Предположенная комиссия об этих имениях составила только в конце ноября; членами ее были: митрополит новгородский Димитрий, архиепископ петербургский Гавриил, епископ переяславский Сильвестр, сенатор граф Иван Воронцов, гофмейстер князь Борис Куракин, шталмейстер князь Сергей Гагарин, прокурор Синода князь Алексей Козловский, действ. стат. советник Григорий Теплов. Комиссия состояла под единственным ведением императрицы; она должна была руководствоваться духовным регламентом и указами Петра Великого, «яко ничего лучшего уже определить нам невозможно», – говорила Екатерина в инструкции комиссии. Поэтому комиссия должна была распределить доходы с церковных имений: 1) на содержание домов архиерейских, монастырей и церквей; 2) на учреждение училищ; 3) на учреждение инвалидных домов. В начале инструкции говорилось: «Св. Синод сам довольно ведает, что познание слова Божия есть первое основание благополучия народного и что из сего источника истекает вся народная добродетель. Но мы с прискорбием видим, что народ наш простой весьма удален еще от должного исправления, так что и самые многие священники не токмо не ведают истинного пути к просвещению народному, но и, будучи сами часто малограмотные, нередко простому народу служат собственными примерами к повреждению. Св. Синод ведает и то, сколь великий соблазн в законе, а паче в нашем православном, когда имущество церковное расточается иногда на временные житейские попечения, а вечные и богоугодные дела остаются в забвении или и вовсе в уничтожении».

Комиссия должна была спешить своим делом: 12 декабря в присутствии императрицы в Сенате читалось донесение, что монастырские крестьяне в числе 8539 душ не дали подписок, что будут послушны монастырским властям.

В одной из записок своих Екатерина говорит, что заводских крестьян в явном возмущении было 49000 человек, а монастырских и помещичьих – до 150000. В другой записке императрица говорит, что заводских крестьян посланы были унимать генералы – князь Александр Алексеевич Вяземский и Александр Ильич Бибииков, которые «не единожды принуждены были употребить против них оружие и даже до пушек».

В инструкции кн. Вяземскому был поставлен вопрос: нельзя ли заменить приписных к заводам крестьян вольнонаемными работниками? Вопрос должен был решиться отрицательно по малочисленности народонаселения сравнительно с пространством. 15 октября Сенат получил указ императрицы: так как в России много непоселенных мест, а многие иностранцы просят позволения поселиться, поэтому ее и. в-ство дозволяет Сенату принимать в Россию без дальнего доклада всех желающих поселиться, кроме жидов. Несмотря, однако, на исключение жидов, многим могло не понравиться позволение селиться иностранцам-иноверцам, и потому в указе было прибавлено: «Ее и. в-ство надеется со временем чрез то умножить славу Божию и его православную греческую веру и благополучие здешней империи». Надобно заметить, что накануне, 14 октября, надворный советник Андрей Шелиг объявил в Сенатской конторе в Петербурге, что он подал Никите Ив. Панину доношение на имя императрицы с секретным проектом о поселении в Оренбургской губернии на пустой земле иностранных народов и что Панин велел ему ехать в Москву.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.